Тысячу лет без тебя

Повесть без кавычек

1

2012 год,
в короткую ночь на 19 августа

ПОТЬМА, КРОМЕШНАЯ потьма. Три тридцать утра — и ни одна собака не гавкнет, поезд в одиночку настукивает мимо, мимо. Огнями значатся солёных тюрем ассорти: мужских, женских, для малолетних и для иностранцев, — выбирай — не хочу. Дубравлаг, поселение Явас... любил, — думается Учайкину, — любовь ещё быть может... приедем — вот и посмотрим, может или нет. А *ей* что делать в Саранске — для неё при случае и женская подойдёт, и для иностранцев, — финка, как и положено, холодный блонд. Белозубая, тонкокостная, запястья сплошь в цветных фенечках. В три тридцать утра не спит — работает за ноутбуком, в своём одиночном СВ, любезно пригласила Учайкина и начальницу поезда.

*

В длинную ночь на 25 августа

Сарафьян ляной. Вылизанный солнцем, стягивает его через голову и — боги мордовские — вся она голенькая подо льном, вся раскалена добела. Когда-то Учайкин видел, как при пожаре белые пластиковые рейки изворачивались и танцевали, быстро вытягиваясь и тончая, так и она — оплавленный кусочек пластмассы — тоненькая, изгибистая. Венозный рисунок на груди её ярчал...

Хватит! — остановился бы Саша. — Что прямо с первого же предложения?

Допустим, всё-таки со второго абзаца; но с чего же начинать повесть о Тысячелетии, не гимны же республике слагать: славься-славься, звонче-звонче, — на шестьдесят и более страниц; с их близости — наверняка так оно и было.

— Заболеешь, Саша... горячее, согрею, чтобы ты выпил это... для тебя.

— А ты знала, что мы встретимся?

— Нет, конечно.

Будь не он, а кто-нибудь другой... даже будь его отец, спитый техник Электровыпрямителя, этот прямолинейный электрокабель... она так же, чёрт подери, напоила бы его своим молоком.

— Вот бы ракету! — встрепенётся Учайкин в кромешной потьме. — Пустить по нашему следу, чтоб до конца. Мордовия? — ничего за ней не стоит, кроме рычащего эр. Республикась Мордовиянь. Арасян, арасян, араселинь[1].

*

19 августа

Его встречали с оркестром — это тебе Учайкин не оркестр берлинского радио, но и так хорошо. Саранской филармонии — в полном составе её духовой на платформе. А чуть поодаль и ансамбль Торама — в мордовских рубахах, с погремушками.

Но это завтра, а пока на поезд он припаздывал — успевал, но впритык к отбытию, впрочем, как всегда, — и из туннеля метро выманивал сноп света: давай-давай, родной... давай же, паскуда, скорее... В долгожданной металлической утробе смотрел в туннель через стекло, по поверхности которого расползалось его кривое отражение — не п р и с л о н я т ь с я — соблюдать стеклянную грань видимого-сущего. Гранённость ему всегда хотелось преодолеть: так наизгаляться, чтоб всё перекривлять. Четыре года в Москве — а даже это заснять почему-то не может, только и представлений как, с какого ракурса, с каким фокусом... Иллюзионист, фотограф.

Сегодня он уже также припаздывал на поезд, также выманивал, заклинал в метро сноп света и расползался по поверхности кривого стекла — ехал и потом всё ехал, и ехал, — столько станций нет ни на одной ветке, будто метро прорыли аж до его дома. Двери перестали открываться. Он остался единственным пассажиром. Время на телефоне — а телефон ни на единичку не разрядился за весь день, — и осенило. Ещё под утро приходила женщина — тьма-тьмущая архетипов — брала за руку, уводила, заставляла краснеть, белеть, снежной изморосью покрываться... Он ничего не запомнил и не знал, что день проживает по увиденному до поры... До времени, на котором телефон во сне занемог, остановился; сейчас же глянул на экранчик: успеет, никуда не денется, успеет он в свою республику — и телефон в ту же секунду сдох, обессиленный за день.

Казанский вокзал. Издалека увидел по расцветке и не обрадовался — армейцы, вся платформа — они, всюду — не протолкнёшься, все около его поезда. По билету — вот что удивительно, купил перед отправлением и получил — вагон № 0, несуществующий вагон. Может, и Мордовии тоже не существует, — подумалось ему, — и мордвы...

— Прикреплённых полно, ну, вы как будто нулевых не видели, два дополнительных из Питера прямиком, а ваш — в самом конце... с ЦСКА, да-да, счастливого пути.

С ЦСКА и в самом конце плестись!.. Зачем только так возвращаться, продолжал бы своё броуновское движение вокруг да около. Шебутные однокурсники по другим республикам катались, писали в ректорат: Разрешите... досрочно... с такого-то по такое будем вынуждены находиться на территории республики Куба; бедные-несчастные. А в самом конце, должно быть, укачивает хорошо...

Несколько секунд он ещё сомневается: плёнка, будет ли в Саранске плёнка, — да ничего там не будет, — отмыкает затвор — щелчок! Вспышка... и уже ждёт, как из чёрного квадрата фотокарточки на свет белый проявится окно поезда с красным нулём на нём. Важно ему: пусть встрепенётся всё, ощерится перед его объективом, — и если снимать, то полароидом. У него всегда по карманам снимки за последние дни, в этот раз... Университетский фасад, озарённый холодным светом люминесцентных прожекторов. Хлебные крошки на столе студенческой столовой. Люберецкая пустыня, вся в шинных шрамах, а точно такая — никто не знал — есть близ Хельсинки.

— Наконец-то, до самого последнего тянули, — проводница захлопнет дверь, — уезжать не хотелось?

— Очень, — сунет он пока ещё чёрную фотокарточку в карман, — хотелось не то слово, как хотелось, — и рассеянно улыбнётся ей, думая о другом: сфотографировал, но не сличил, вот дурень, чай-чай-учай, не успел, — реальность со снимком или наоборот. А в моментальных только это и есть, но не задерживать же поезд на семь минут...

— А вещи вы не забыли?

— Я налегке.

В небольшом рюкзаке паспорт, уже виденные вами снимки, полароид, заблокированная кредитка, мелочовка, таящаяся на самом дне, — придётся выбирать: на чай или на троллейбус... ах, да, ещё маленький ножичек, отцовский, стащенный четыре года назад, когда удирал в Москву, учиться. Пока что финке доводилось знаваться только с мельбой.

Так: паспорт, снимки, полароид, ножичек... стоп-кран, погодите, а ключи? Точно, ключей

[1] Нас нет, нас нет, нас не было (*эрз.*).

нет — от ½ комнаты сданы коменданту, а от саранской квартиры по улице Коммунистической никогда не имел — отец не доверял.

Досадно ему становится, — отец... — смутным он для него становится. Вот отец: стены оклеены газетами — ремонт, на столе бутылка самарского пива, медная решётчатая скумбрия, он — в красной фланелевой рубашке, задумчиво подперев подбородок кулаком... Или не это отец? То птицы были — давно из рогаток перестрелянные, а позже оставшиеся — из травматической винтовки, — в тире. Вместе с отцом и перестреляны — все до одной, чтоб не вспоминалось. Той десятилетней давности — такого отца он хорошо знал, — они вместе ходили в маленький парк, покупали сушёную рыбу, хлеб, сок и по одному треугольничку плавленого сыра — эти жестяные треугольнички только появились в магазинах: круглую коробку вскрывали и продавали поштучно. Два треугольничка, им больше и не нужно для городского пикника — на два бутерброда. Они спускались в парк по безымянной набережной речки Саранки, в парке катались вниз головами на аттракционах и до слепоты стреляли в тире. Тирщиком был мальчишка-узбек, беженец, — их тогда очень много на проходящих поездах в Саранск прибегало. Отец договорился с мальчишкой и приносил свои пульки — целую коробку мог за вечер угрохать, упорно расстреливал птиц, зайцев, волков, солдат.

После тира они возвращались на набережную, где стоял деревянный городок, искали домик с непробитой крышей на случай дождя и забирались по высокой лестнице — все они на этих высоченных лесенках стояли, сказочные же. Во многих домиках уже фривольно кумарили — отец их ласково и нецензурно называл, но если везло и домик оказывался пустым, то они, довольные, расстилали на скамейке газетки и усаживались лакомиться скромными припасами. Отец закуривал сигарету и точил острым взглядом неповинную Саранку. Что он в ней такого видит, что оторваться не может? — не понимал Саша. Ему оторваться легко оказалось — кровяным тромбом вверх по течению поплыть.

*

Речку вскоре перекрыли, в её осунувшейся дельте возвели фонтаны и рукоплещущую Аврору, потом перекопали, поменяли её тощее русло, Аврору свергли, берега закатали в бетон. Сказочный город исчез — шагом марш — в печь: рядом с парком сауна была и есть. Только и воспоминаний: как там крепко пьют, а потом баню закатывают. В такие места порядочным людям, наверное, стыдно возвращаться, хотя зачем вообще порядочным людям...

Возвращаться всегда тяжело и даже стыдно — после другой жизни, как после стерилизации, апостериори, пастеризованным молоком. С молоком в поезде был только паршивенький кофе три в одном — да какое там молоко, ахинея, ядохимикат. Для иностранцев — кофемашины, но на такой кофе мелочовки не наскребёшь. Между тем воздух в вагоне грозился позеленеть от хмельных испарений и армейских признаний.

— Отведите меня... — взгляд на бэйдж, — Анна Сергеевна, к начальнику поезда.

— Зачем? — насторожилась она, — слушайте, — молниеносно перешла на шёпот, — давайте мы никуда не пойдём, может, переночуете в моём купе?

— Вы не так... поняли... — Учайкин смеётся, — я с журфака МГУ, московского... студент. Еду освещать праздник, ну, по совместительству просто домой. И вот почему бы не начать прямо отсюда... освещать в смысле. Тем более весь вагон армейцы, а я как бы... за Спартак болею. Можно было б такой материал сделать: что из себя пять лет назад представлял ва... ээ... наш фирменный поезд и во что он превратился сейчас. Кофемашины, белые тапочки, приветливые проводницы...

Она задумалась; в жёлтом огне семафора, стреляющего в окна, мимолётом Учайкину померещилось: время полседьмого, а уже закат, конец лета, его первый осознанный поезд — целиком его поезд, везёт его в Москву. Листья на деревьях уже опали и жёлтыми ворохами лежат на газонах; жёлтое солнце; а ночами бывают жёлтые луны. Вагон старый, дряхлый, пахнущий кислым железом и специфической пылью, которая так и парит в воздухе, не оседая. Четыре года назад. Ехал к первому сентября.

— Хорошо, — сказала она, — я поняла. Но только у нас нет начальника поезда.

— Как нет?

— Начальница у нас.

*

— Куда она ушла?.. — Финка захлопнула ноутбук и обшарила его взглядом — такая и цвет глаз высосет; мгновение — взгляд перевела на

плазму, над спальным местом — и снова на Учайкина, уже улыбаясь, — нет, не такая, всё хорошо.

— За чаем нам, думаю. Мы вас правда не потревожили?

— Я сама тебя пригласила, тебя и её, нет проблем. Мне бы хотелось много узнать.

— Да уж, мне бы тоже много чего хотелось знать... нет-нет... это я так... ничего... А вы — на праздник, работать?

Какую же глупость сварганил, чай-чай-учай, раз она так рассмеялась.

— Работать на праздник, — кивнула, — но моя работа — это долго говорить, слишком долгий разговор, ночь короче. А ты?

— Тогда в следующий раз?

— Следующий раз? — повела она бровью и снова рассмеялась. — Нет, сажайтесь.

*

К Рузаевке, часов в шесть утра, в вагоне стали очухиваться, греметь подстаканниками и шлындить туда-обратно по узколякому проходу. Учайкин таких узколяких проходов за ночь штук двадцать осилил — в экскурсии с начальницей поезда. Теперь последние тридцать рублей отдал и притаился на своей верхней плацкартной полке (неудобно, но внизу армейцы заняли все места), прихлёбывает сладкой дряни и слушает...

— Википедию откройте, что ли... почитаем хоть, куда приехали. Я, кроме того, что тут назначили этим сидеть...

Сидели, отбывали — да; одна из Pussy Riot, устроив хороший PR, но работу свою на поток не поставив — швейное производство в колонии — можно было на всю страну балаклавы шить и до пяти тысяч зарплаты получать в месяц; но это уже проехали. А через полгода такой же армеец сказал бы так: я, кроме того, что там квартира у этого ихнего французика... как его? — Депардье...

— Ага, ничё больше не слышал.

Квартира-квартира, да, Депардье в Саранске прописался; с чего только это началось, может, с его вопроса...

— Видал Pussy Riot... — год спустя будет спрашивать Депардье, — когда они вышли из тюрьмы? Как с парада мод, ей-богу, в макияже, с круглыми щёчками, с накрашенными губками. Чёрт побери, дайте мне адрес этой тюрьмы, я ищу место, где бы поправить здоровье!

— ИК-14, Мордовия, — ответил бы Саша Учайкин, — милости просим.

— Там по-русски хоть говорят, — продолжают армейцы, — в этом Саранске?

Только и говорят, — думает Учайкин. — Хотя вывески на четырёх языках висят.

— Пишут, что у них на днях какое-то глобальное бухалово будет. Ребята, мусора будет завались, так что давайте — не буяним особо.

Вот уж глобальное, не кось-мось-кумадеру-келунясь, а целое Тысячелетие единения мордовского народа с народами России. Ни один историк не придерётся: ну а что, единение — это, можно сказать, и когда волки с лисами в одном лесу хитя́тся.

Скромный учайкинский Старт... Маленький, почти неприметный Старт... Этим вечером будут бомбить: армейцы против республиканцев — такой расклад. Вот и стадион: белые, синие, красные трибуны. В отдалении иглами — шпильность городская, из боязни — это громоотводы. И церковь — на месте советской гостиницы — громоотвод; сносили гостиницу в нулевых — уносили кирпичики, плача. Отец Учайкина такой кирпичик, принесённый сыном, выкинул в окно: вот ещё, булыжникам в квартире храниться; порядок, должен быть порядок. Да-да: согласие, порядок, созидание — триада, выбитая на затылках республиканцев.

*

Как уж там?.. — спускается Учайкин на перрон, — в грядущие дни, значит, я вынужден пребывать на территории Республики Мордовии? Или с другим пафосом: обязан быть со своим народом, измученным стройками и вызыванием мордовских богинь, каждый вечер на площади Победы: спускайтесь, богини, спускайтесь, — репетиция парада.

И где же? — неосознанно начинает тушеваться, — то ли оркестр не кончает туш, то ли никак не находит знакомое лицо — друга, заведующего музыкальным училищем. Это ведь он духовое сопровождение подогнал, решил удивить, так удивить? — ничего не понимает: где же тот сам. Вчера был единственным, кому позвонил и предупредил: приезжает.

А за финкой, Хеллой Турккила, давно пригнали шевроле, двух профессоров и директора музея — и увезли её ото всех подальше: по расписанию — завтрак, бассейн, приватный концерт Торамы и вечером в мордовскую деревню-глухомань, отстроенную по канонам позапрошлого века. Она там среди собратьев эрзян-этнографов впервые заговорит в полный

свой голос: шумбра-ат, сюкпря-аа, паро мель марто-оо[1]... Полгода училась тянуть по-эрзянски, а не по-фински, как и положено — бисером рассыпаться. Миссия её — бисером рассыпаться.

Торама всё надрывается — только выходят из последнего вагона широкоплечие, в спортивной форме, — это для них наяривают, для метателей дисков и ядер... И огонь шквальный фотовспышек, и залпы, залпы, залпы...

Армейцы стоят около вокзала, похожего на Рейхстаг, и растерянно втягивают в себя незнакомый воздух; им не знать, что недавно здесь была хлипкая станция и мини-лесок — и никакой привокзальной площади, никакого Рейхстага, никаких оркестровых выходок — грязи полные калоши. Незнакомый воздух пахнет свежим, только из-под катка асфальтом, известью разведённой пахнет и сыростью, начавшей покрывать августовские улицы. Деревья — в своей запылённой от строек и тяжёлой от августа чешуе.

— Макдоналдс? Нет его здесь, — веселеет Учайкин.

— Как это нет? Не может этого быть, — не верят армейцы. — Везде же есть!

Как они беззащитны сейчас, — чёрная иномарка медленно проехала, высунулся фээсбэшник, — и совсем притихли; и как будут отъявленны вечером, когда дорвутся до Старта и в первом же тайме разгромят Мордовию. Всего лишь ФК, конечно, но Учайкину будет обидно за республику.

*

На белой стартовой полосе холодно, как на вершине эверестовой, ветрено: прижаться к рядом стоящим и гудеть, гудеть — болеть и согреваться. Два старика рядом: один за республику, другой — всегда за приезжих, — спорят на бутылку, но кто бы ни выиграл, исход — праздновать. — Вы за кого? — каждый матч цепляются. — За наших, — получают ответ. — хех, за наших... А кого под нашими понимать?

Когда-нибудь Мордовия сделает не ЦСКА, но Спартак, и весь Саранск погрузится в удивительное послезакатное блаженство, мужчины кинутся звонить: Мама, мордва победила! Слышишь? — и басом это пустозвонкое: Морррррдовия! — и мчаться с трибун быстрее, к чёртовой матери, с этих бело-сине-красных полос. А спартаковцев оградят, не будут пускать, — и те хмурые, чумазые, будут сидеть в клетке и покорно дожигать свои цветные дымовые шашки. Наутро пообещает выпасть красный снег, через год. И этого триумфа Учайкин не увидит.

Сейчас же ему стыдно красным цветом — самым реактивным, тромбовым и смиренным из всего спектра. Как старушьи причитанья, — она металась по песку в своих башмачках и спускающихся с колен колготках, — и ноль ответа от него...

— Где же ты, где... куда делся, Господи... раньше стоял на одном своём месте... приезжала, выходила из автобуса, шла одной дорогой... а сейчас не пойму куда и идти-то, всё не так... ужель снесли... как до монастыря подворья мне... два месяца не была, теперь ничего не узнаю, всё вверх дном.

Накрыло сияющим медным тазом. Нечто несусветное: к полудню солнце начинает припекать — и адовая жара, гул экскаваторный, скрежет песка под кедами — и марсианские кратеры, гноящиеся, как после нещадной бомбёжки. Красочный запах режет глотку — всё окропляется человеческой кровью-потом и приобретает цвет: в положенном месте иссиня-чёрный асфальт, белят-перебеливают бордюры, скатертями выстилают готовые газоны — трава в этих рулонах термоядерного оттенка — в природе не сыскать, в акварели разве что; этот цвет там так и называется — зелёная травянистая, концентрат. Грузовики с этими рулонами напоминают установки с ракетами земля — земля. Вот бы ракету... — гудит в Учайкине ночная мысль, — по нашему следу.

Что месяц назад творилось — этого ещё он не видел, и хорошо, что никогда не увидит. Автобус в Турдаки по развороченной улице тащится, у пассажиров вымученные лица, в воздухе тяжёлая взвесь и гогот строителей битым стеклом; с домов на центральных улицах содрали штукатурки, и вот они, голые, оказались коричнево-кирпичными, как из тюремной баланды слепленные. По всей стране он видел такие тюремные дома: планировки внутри разные, а дома одни и те же. — Нравится тебе наш город? — спрашивали его. — На мой похож, — отвечал он; а свой город Учайкин терпеть не мог.

И как терпеть — перед самим праздником взялись всё перекраивать, и каблуки гостей будут застревать в свежем асфальте, а на телохранителя президента, может быть, упадёт какой кусок... Дно!.. Оказывается, очень даже солнечное, безоблачное — над его Коммунистической.

[1] Здравствуйте, спасибо, мне очень приятно (*эрз.*).

2

БЕЖЕВЫЙ ПЛАЩ и коричневый костюм, отцовское, по качеству и пуговицам, видно, югославское, — а потом и свитер тёплый, крупной вязки, — достал Саша из шкафа и присвоил, дивлясь, что всё впору пришлось: отец всегда казался жутко недосягаемым, высоченным.

Пять ночей подряд родная кровать была неуместно широкой, безбрежной. В общежитии — узкая койка с продавленной пружиной... Один-единственный день — раскалённый — пустой холодильник заполнил, одежду отцовскую присвоил, — и резко похолодало, началась череда одинаково бесхребетного, плавно-серого. Вязко и муторно, делать нечего: только работать. С утра до ночи дожди — колкие накрапывающие и холодные ливневые; медный таз изошёлся решетом. Хочешь ночью посмотреть на звёзды — а их нет, тучи на небе не рассеиваются, как в Москве, — не небо, а застиранная наволочка.

Смена изношенного и залатанного белья продолжается: вторят дождю, не смолкают своими молоточками и кувалдами, белят прямо поверх дождя влажные стены. Около того дома, что и так Белый дом, выстраиваются на цапельных ножках флаги финно-угорских народов. Домой, нет, не домой — в Дом спешит Учайкин, за аккредитацией; мертвецкая процедура годности. Ждал всё утро, шлялся по набережной, смотрел на Белый дом издалека, как тот гармошкой расходится, мраморная гармония... Когда-то на каждой выступающей его грани висело по транспаранту — Согласие, Порядок, Созидание, — больше висеть не будут.

Надругались над его Саранкой — в бетонном панцире своём она блеснула — и он её понял: вода не должна быть в таком окаймлении. На её бережку за это лето сколотили деревянную мордовскую деревеньку. — Сколько протянет, — усмехнулся Учайкин; долго — там ресторан — всё для тех, кого отец ласково и нецензурно величал. Эх, Николай Васильевич, где же ты, папа? На каком ТЭЦ-2 приютился у холодной незнакомой женщины... Тоже она с Электровыпрямителя — ненасытная воронка, вороница, галка — с мокрой жиденькой химией на голове? Или перевёртыш какой...

А мать — нет, мать он не забыл. Вернее, он её и не помнил никогда: ни как волосы укладывала, ни каким мылом руки мыла, ни слова от неё до и после сна ни слова... Не запечатлелась мать, не успела ему запечатлеться; оставила от себя один дырявый чулок: отец собрал её — платья, блузки, фотографии, даже негативы — и во двор, и бензином, и спичкой чирк. За хулиганство его доставили в отделение к другу, майором служившему. Но и этого пожарища Саша не помнит, крохой-учаем был, захлёбывался в нескончаемом рёве на четырнадцатом этаже. И то, как отец поил его снотворным (а как люлюкать-баюкать?), конечно, тоже — нет... И как майор ходил к ним на Новый — годы подряд, тоже — нет; помнил только последний самый — принёс он бутылку хереса и коробку какой-то херни... мидий, кажется; и сцепились они с отцом, сосед Аверкин их разнимал, имя материно летало меж тремя мужчинами... Будто за неё, покойницу, сцепились — кому достанется. А им-то чего её поминать, — не понимал кроха-учай, — он её знал ближе всех, себя в первородной своей могилке знал, её до последней капли; так чувствовалось ему, грудь сдавливало, дышать не моглось.

Марево. Те женщины были тихи, словно совершалось какое-то незначительное действо, которое и было таким тихим, чтобы не спугнуть солнце и стайки безмятежно качающихся одуванчиков. Женщины в юбках до пола, до песка, скулящего под ногой, на каждый шаг — по красной гвоздичке. Иногда попадалась пёстренькая — четыре штучки, он это ясно запомнил: дутыми трёхлетними ножками еле переступал, только под ноги и смотрел — солнце слепило, даже в гроб не заглянул. А женщины в своих подолах уносили его мать и заметали следы. Песок — вот что заставляет его ёжиться, трепыхать, ненависть таить и изливаться — извергнутой спермой, которой нет пути обратно. Он себя выпускает, выпускает, а она неистощима.

Время подошло — помертвелое, какое-то казённое, ничейное: Белый дом.

Корреспондентом одобрен, от Столицы — руководствует газетой Холопов, к которому также напрямик заявился Учайкин в первый же свой саранский день. Застукал его за обедом — булкой с кофе, — одетым в джинсы-слим и водолазку с логотипом газеты — бегущей от стрел лисицей.

— Зачем?.. Фоторепортажи могу, да, с праздника. Учился в школе Родченко, в Москве... сейчас там же, на журфаке... правда, выгнали... в смысле, что из Родченко, а на журфаке так и числюсь. Но это всё неважно. Денег — ноль. Работать... Да, очень... На четвёртом, на бюджетном, да. Вот, — и кладёт ему на стол интервью с

начальницей поезда, — это можно прямо в следующем номере дать.

Холопов затопал снежно-белыми кедами: наглец, ну наглец, ну наконец-то! — недоеденная булка была с удовольствием выброшена в мусорное ведёрко. — Родченко? — допивая кофе, эспрессовую нефть, — Да, конечно, слышал. Но хер с ним, с Родченко, мы тебя, парень, берём. У меня есть небольшая история сплетнеобразного вида, нужно оформить. Но это всё потом. Мы тебя берём, без вариантов. Садись, кофе будешь? Потому что если мы тебя не возьмём, то тебя возьмёт Измор, это тоже без вариантов.

А изморо́м здесь может взять, Саша знает по отцовой квартире: в гостинной стенке запылённые фужеры, в фужерах — зубные коронки, конфетки задубелые, карамельки ламзуревские, ворохи квитанций, коробка корсаровского табака и коробка травматических пулек — отец опять, что ли, пристрастился... Должно быть, снова тирщик-беженец. По нехоженому слою пыли на полу — отец давно в квартире не был; на столе, обеденном, мятая квитанция — сумма такая, будто задолженность за весь белый свет; Саша такую не потянет — ставит крестик на руке: свечек купить. Не оплатить — кирдык двадцать третьего августа. Куда же без свечек... Квартира в таком запустении... А Света — маму звали Светой или Валдоней, если по-эрзянски. Видно, правы были Аверкины: завелась у отца женщина.

У них, соседей по этажу, взял он ключ от трёхкомнатных хором — пустующих, как оказалось, изнывающих печалью. Подёргал-подёргал медную ручку — и к Аверкиным не без радости: дверь открыл хозяин в вышитой рубахе. Ну, — подумал Учайкин, — и у этих не все дома, придётся во двор спускаться и с их малым гонять в футбол, пока в себя не придут. Хотя, наверное, у них это и было — в себе.

— А-ээ, Санька, ну, проходи скорее, папаши твоего... как всегда, извиняюсь, что я такой, эээ... к параду подгоняем. Ты проходи давай, пойду переоденусь, как раз собирался. Успел хорошо, поешь с нами с поезда... как там это... эээ... Ничего страшного, что суп?

На кухне Аверкина пришивала атласную ленту на подол расшитого платья: бойко так, ловко — она всем местным ансамблям костюмы шила, рука у неё хорошо поставлена была, хоть и всю жизнь цифры высчитывала, а это так, для души, для блеска в глазах и по паркету — сверкающими рассыпанными пайетками.

— Иностранцы приезжали, кто уж? Ни бе-ме...

— Ээ, эстонцы вроде...

— Они, да... И говорят: продайте нам костюмы, мы их в музее финно-угорских народов будем выставлять. А я не далась. Говорю: как же это, они же наши, национальные. На парад в них идём. Вот сходим, покажемся президенту — тогда берите. Они задорого хотят — не то что наши. Даньке хоть велосипед получится, а то в футбол и в футбол с утра до вечера, а мячик и то — чужой. Стыд!

— Не косись, не косись так на меня. Играет — и то хорошо. Мы вот сегодня, Санька, на матч пойдём, ээ... против ЦСКА, знаешь ведь? А мячик... Стыд ей, ха! А самой не стыдно было упустить такую... такую рыбину, эээ, бабы. Вон один приезжал... Как ты за него рассчитала всё — за баньку, рыбалку... девочек тоже посчитала?.. И всё ровно, как оно и есть, а самой хоть нолик лишний в конце поставь, да хоть два! — не заметит он всё равно. Десять велосипедов у Даньки было бы!

Третий день — завтрак, обед и ужин — у них суп: нет времени сварить ещё что-нибудь, праздник скоро; а суп, паскуда, ещё вкуснее становится — суточные щи. Ничего столь же домашнего Учайкин давно не ел.

— Мне бы каких подработок, — говорит Саша, — что угодно... На сам праздник хочу фотографом устроиться куда-нибудь, а пока — не сидеть же.

В Москве последнее растратил: долги раздал, плёнку проявил, купил плёнку, опять проявил...

— Может, плакаты по городу расклеивать? Во́т — что стыд: за это и то больше, наверное, получишь, чем она насчитала...

— Стыдишься, значит, что жена не обманывает? А как до детей говорил: только не надо, умолял, боялся.

— Ээ... нашла, что вспомнить. Это когда было, двадцать лет прошло.

— В восемьдесят пятом, если напомнить надо.

— Да помню я, как же забудешь... колоском торчал. Штаны у самого худые, за душой ни рубля, а колоском торчал.

— А я булочкой была, — Аверкина так и расхохоталась. — Это тоже на параде, Сань. Аграрное богатство республики изображали, ещё при комсомоле.

— А в честь чего парад?

Аверкины задумались.

— Тоже что-то вроде Тысячелетия... Ой, ведь и правда не вспомнишь... У нас проспект где-то

был, мы тогда только гулять начинали. Где оно? Где рисунки, что ли, там лежит?

— Там, наверное, эээ... иди и посмотри, — и совсем тихо: — Саньк, а ведь Светлана, мать твоя... Там мы все познакомились, на параде. В комсомоле, эээ, то есть. А квартиры, соседями — это потом, вместе проще было выбивать.

22-08-85 Сонечка, души не чаю, хоть знакомы вторую неделю. Ты самая аппетитная бу...

— Не читайте, ну-ка, дай сюда, я посмотрю. Та-ак... Ну вот, всё верно, пятисотлетие.

— Чего пятисотлетие?

— Чего-чего, праздника. Пятисотлетие Тысячелетия. Или безголовые оба, не понимаете?

Авер и Учай сливаются в одно: кин-кин-кин, уу-ха, кин-кин-кин; Аверкина, понимая, прежде смущается до влажности в глазах, но потом тоже заливается...

— Чего, дура, несу... праздник, конечно, пятисотлетия единения...

Но вдруг замирает, понимая что-то другое...

— Это что же выходит?.. Что двадцать пять лет назад отмечали пятьсот лет, а теперь тысячу?

3
Новый русский, мордвин

2013 год, 6 января

БЕЗ МАЛОГО центнер — в канун Рождества подарочком, на личном самолёте. Спускается — ей-богу, центнер, — раскрасневшийся, дыхание сбивчивое, простенькая курточка нараспашку, душа якобы тоже. Уважаемый Жерар, — заголосил девичий хор, — как хорошо, что вы прилетели к нам в гости! — и в объятия республиканской главы, Волкова. С ним Депардье — момент –расправился и принялся по очереди общупывать поющих девочек, те смущались и фальшивили — Депардье не замечал, он уже вовсю хороводил. Такого ни Волков, ни девочки отродясь не видели, разве что в кино.

Как приземлился он сюда? — этот выхолощенный красавец — нет, не Депардье, а его самолёт — невидаль среди заштатных трёпаных Анов. Аэропорт SKX, имея в распоряжении кафе Космос, ощущал себя на задворках этого самого Космоса, какая-то пере-периферия... А тут: приём-приём, диспетчерская? идёт на снижение; готовьте полосу и устройте ему радушный приём. Маленький белый китёныш — манной небесной на изголодавшихся после Тысячелетия журналистов. Они его стальную плоть готовы были разодрать зубами, растаскать по редакциям, растиражировать, на весь Космос заголосить первыми полосами: Хэй-хэй-хэй, смотрите, кто к нам прилетел! — но смелости пока не хватало. Они китобоями не были, они собирали падаль с берегов.

Холопов сам примчался смотреть на Депардье, губы кусал на морозе: новый русский, бляха-муха, новый русский, — вертел на языке название статьи. Рядом уже поджидала несчастная Торама — состав, скошенный простудой, поредел, но погремушки бряцали резво. Учайкин читал про всё это в газетах и, продираясь сквозь газетное слово, представлял себе всю подноготную.

...Депардье поднялся на сцену Оперного театра, хотел показать свой свежий российский паспорт, но, обшарив карманы, не нашёл — оставил в пальто. Послал какого-то пажа, а пока стоял и смаковал аплодисменты. После — его обрядили в мордовскую рубаху, которая, огроменное полотнище, еле на него налезла. Мало кто знал, что накануне тот ещё кипиш был: на фабрике Мордовские узоры самые большие рубахи пятьдесят восьмого размера, а для Депардье шестидесятый — минимум. Пришлось Волкову последнюю вышитую рубаху с себя снять, французу отдать. Валенки сорок четвёртого размера — вуалять! — и готов. В придачу к паспорту россиянина — шуточный паспорт мордвина и предложение прописаться в Саранске — без шуток, прямо так сразу квартиру. Беженец, конечно, не отказался. — Большое спасибо... — разливался он по-русски, — что я стал мордвином... это большая честь для меня.

— Знаешь, — говорил Депардье Учайкину, — мне бы хотелось иметь домик, и чтобы в нём пахло сосной, и сосновые иголки кололи ноги, когда по ним ступаешь. Я отвёз бы туда всю мою семью... а сам бы ушёл, уехал к новым горизонтам. Куплю дом, обязательно куплю и увезу всю мою семью в этот светящийся воздух, на эту красную, тёплую землю, под эти сосны...

— Знаешь, — отвечал Учайкин, — я ведь тоже хочу, очень хочу, но не в иголках дело. Хотя там они имеются.

На улице Депардье всё выдыхал на мороз, переводчики еле поспевали: да, Рождество — волшебный праздник... мечты сбываются... хо-

тел в Мордовию — попал... теперь буду следовать традициям своей страны — России.

После — перед чиновниками саранской администрации сидел кумиром их молодости. Волков признавался, что в суровые годы перестройки он смеялся над одним только Депардье, больше его никто не мог развеселить.

— Мсье Жерар, для нас большая честь принимать вас у нас... особенно после того, как вы увиделись с президентом... Поверьте, для нас это знаковое событие, ибо президент любит и уважает республику, а мы любим и уважаем президента. На последних выборах более девяноста процентов голосов мы... народ то есть, отдали за нашего президента.

(А ещё — думает Учайкин, — столько-то девственниц и мешков пушнины.) В администрации ему готовы предоставить и квартиру, и домик, и всё что пожелает (и девственниц — сколько захочется). Лишь бы российской пропиской ЖД стала РМ. Тогда регион-13 прославится горячей любовью не только к президенту РФ и запредельными процентами голосования, но и таким земляком, как ЖД, у которого в скором времени обязательно найдутся мордовские корни. — Уи! — сладострастно урчал ЖД, — уи!

Ваши женщины, о ваши женщины!.. Они так много трудятся — доят коров, но при этом так прекрасно поют и гордятся своей родиной, где нет ни нефти, ни полезных ископаемых.

— А вопросик можно? — Учайкин прямо видел, как Холопов наверняка вклинился: — Газета Столица. Правда ли, что вы предложили мсье Жерару занять пост министра культуры республики?

— Мы действительно хотели предложить мсье вакантную должность...

(Ага, а то мы думаем: что это в республике с культурой творится? А это, оказывается, просто место пустует.)

*

— Это болото, — сладко тянул Холопов, качаясь на стуле, — здесь время не идёт, — и затягивается мальборо — редкая минута покоя в редакции; рукава водолазки закатал — руки густо татуированные. Из Саранска, было время, он тоже сбегал, как и Сашка, в Москве жил неплохо, но напортачил — и в болото отсиживаться-отстаиваться, становиться кристально чистым; будто Москва — это ради стерилизации, чтобы поднашкериться, опыта поднабраться.

— Я тебе историю обещал?.. Слушай, Александр. Торчит вечно около мастерской своей, что под нашей редакцией, один скульптор. Назовём его Никуша. Мерзкий старикашка, однако ж, хотя негодяй — спортивный, загорелый, с седыми волосами до плеч и ходит в белой водолазке, как я. Короче, эффектно. Пришла к нему как-то студенточка архитектурного на практику. Завёл он её в мастерскую, посадил на двуспальную кровать, задёрнул багряные жалюзи и запер дверь. Вина? Спросил, раскупоривая бутылку, и студенточка засуетилась. А он ей: не беспокойся, моя хорошая, я всех ваших знаю, пятёрки одни будешь получать. Студенточка поозиралась на бронзовые бюстики, кровать и говорит: откройте. Скульптор поспешно вытащил пробку из бутылки и разлил вино по бокалам. Дверь откройте, — чуть ли не кричит уже девчонка. Ну, пожалуйста, конечно, — разочарованно так всплеснул руками скульптор, вино расплескалось в бокалах. Девочка — на улицу и бегом к нам на третий этаж, кричит: напишите про этого подонка статью! А что я напишу? Это, конечно, прикольно... хотя, конечно, не очень.

Знакомы Учайкину такие студентки-архитекторши, готовят проекты для города: наобум тычут карандашом в карту, обводят ровные прямоугольнички в частном секторе и невозмутимым голосом — под снос! — и им плевать, что в этом прямоугольнике люди, их живые дома долготой в пять-шесть человеческих жизней, вишенки и яблоньки, которые своими руками сажали. Им главное сделать проект — выстроить бетонно-стеклянное чудовище — слава всему, — пока ещё на бумаге, но когда-то ведь проекты стариков закончатся и спрос пойдёт с них... И то, под каким знаменем они живут, тоже знакомо Учайкину. Только мы знаем — где и кого снесут, где молоко на рубль дешевле; поститься от безысходности и если куда идти — конечно, пешком; русское спонтанное зодчество, пальцы в клею от макетов — матери натягивает капроновые колготки.

— И что ты думаешь, написали? Да нет, конечно. Но ты держи эту историю в уме, когда совсем нечего будет писать — напечатаем её. Вот такое, Александр, болото.

Есть на пути к городу отрезок, где настоящие болота проезжать. Впустую красиво, как бы ни для кого, обычно все с пренебрежением и грустью смотрят в окно: малахит зелёный с сиреневыми вкраплениями безызвестных кустов. Озёра в белой ряске, леса́ — вздыбленными го-

рами, такие густые, что мех — ни одного промелька на горизонт, меховая гора; или речка слепая — без амальгамы. Это был самый любимый учайковский отрезок пути домой, а потом поезд влачился по скучным долам с заброшенными ангарами, заводскими остовами, изгрызенными ржой, и элеваторами — без ржи, опустошёнными. Там был один ангарчик, Учайкин всегда искал его глазами, на нём советским шрифтом значилось — ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ И ПРОЦВЕТАЮТ — и жиденькая трава пробивалась сквозь кирпичные зазоры, прорастали одуванчики, светили своими умными головками; под надписью была другая, кислотно-салатовым баллончиком — ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ И ПРОЦВЕЛИ!

В этот раз Учайкин их не увидел — закрасили. Но с озёрами, с ряской, с болотами сделать ничего не могли — разве что пустить по курсу следования поезда забор с фотообоями... Впрочем, с заброшенными ангарами, заводами и элеваторами — тоже ничего: не оживили, не наполнили зерном... Да, удивительно, что без фотообоев.

4

23 августа

ПЕЧАТИ, НЕФРИТОВО-ЗЕЛЁНЫЙ некогда Дом, прозванный Лезвием, — а теперь облицованный белым и безымянный — пресс-центр Тысячелетия, их дислокация на три праздничных дня.

В буфете в ранний час оживлённо как никогда: буфет теперь бесплатен; берите, господа аккредитованные журналисты, что хотите; ешьте, пейте; пишите хорошо — освещайте. Минеральной водички, Инзеры, разлитой на ликёро-водочном заводе, а вечером чего покрепче. А официантка — ба! — их школьная буфетчица, Учайкин её сразу признал, как сильно ни была напудрена; баклажанного оттенка волосы, незабываемые.

В этом коммунистическом буфете ему сразу вспомнилось — их с финкой оборвали на полуслове, ничего ведь она не успела, безымянной осталась — тоже лезвие; начальница втиснулась с гремящим чаем и принялась болтать-набалтывать про устройство СВ-номеров. Он начальницу не слушал — участвовал в перестрелке с финкой, лезвие её взгляда приручал и под ламповый свет выманивал её улыбку.

На первой полосе последнего выпуска Столицы она же была в окружении делегации, бессловесно лежала на столе у Холопова. Выходил Учайкин из кабинета — и всё кружились, она у него на уме: то сальто сделает, то босая прямо по пупочному канатику пройдёт — и мурашками по нему рассыплется, всё движется, вертится, тает в его руках и зазывает... Бах! — и врезался в коридоре прямо в Чернавина, предводителя дворянства Мордовии, — и сразу всплыл, стал извиняться, что помял ему бумаги, которые тот трепетно нёс на вытянутых вперёд руках, как только что спелёнатого младенца, — проект памятника.

Чернавина он искренне и непонятно почему любил: в Москве неоднократно пересекались — предводитель приглашал к вырождающемуся дворянству — в сочувствующие; у них даже возникал триумвират на знатные фуршеты: Чернавин, дальнородственная Лера Макарова и он, Саша Учайкин. Он для себя тогда уяснил: имеют аристократичные ледяные слёзы циники зачастую, а у циников невыносимый характер — вот современные дворяне. И при встрече с ними — ужас разлуки с земным, а наутро встречаешься с обычными родственниками: за ними — пустота. То есть с обеих сторон вакуум. А Чернавин... Он и не такой, и не такой — поэтому, наверное, и всё по-другому с ним.

Про этот чернавинский проект и Аверкины рассказывали: ходит предводитель по городу, собирает подписи за памятник в честь годовщины победы двенадцатого года, как-никак, и сейчас двенадцатый год, двести лет прошло, как-никак, от республики четыре полка... Зачем ещё один памятник, — возмущался Аверкин, — пусть лучше деньги нуждающимся отдадут. Например, нам, — предлагает Аверкина и удивляется: — Ну а зачем памятник, кому, Чернавин сам себе памятник хочет? — и опять смех-пересмех. Данька после матча с ЦСКА вернулся домой с загипсованной рукой и теперь вот фломастером рисовал на гипсе Соколов; он их ждёт с детским нетерпением — истребителей, обещали же прилететь. И радостно мальчишке, что одна рука у него теперь такая, — будет собирать подписи окружающих, прямо на гипс, вот и Сашу попросил... И Чернавин попросил — подпишись, — всё в том же коридоре Столицы, — подтверди, что свой голос отдаёшь за памятник.

— Свой голос ни за что не отдам, как-то не равнозначно... Но закорючку свою поставлю, пусть будет. И памятник пусть будет. Слушай-

те, Вадим Викторович, а я с вами к Холопову прямо сейчас снова зайду, забыл у него кое-что...

Холопов просит Учайкина: ну-ка, Александр, ты задержись... Мы ведь про аванс, про фотоаппарат с тобой не поговорили, не на поларoид же будешь, зеркалку выделим, раз ты родченский. Да я тебе свою дам — только щёлкай. Короче, много про что поговорить надо.

Дворянин по природной своей чуткости, дико извиняясь, уходит со своим пока ещё горяченьким проектом. Холопов останавливается на стуле...

— Не хочу выражаться, но это влагалище мира. Как ходил дядька Вадька с памятником десять лет назад, так и будет ходить, — вздыхает, пирсинг в его брови наливается несостоявшейся слезой.

— Ну а что мне ему сказать? Другой вот, ходит — хочет поставить модель саранской крепости. Реконструкция, видите ли!.. И куда её ставить? Ленина на площади снести? Тогда уж и Белый дом, и полгорода, потому что полгорода на её месте построили. Вон — на набережной мордовское подворье, армянин его держит, мы писали про это... Кучу хорошую он с этого подворья имеет — вот как надо строить. А Чернавин... Бескорыстный и нежный Чернавин. Нравится мне эта провинциальная интеллигенция.... Но поделать ничего не могу. Предводитель дворянства, да какое на хер дворянство в Мордовии? Полтора человека. Оксюморон, твою мать, а не дворянство! Извини, Александр, ничего личного к твоей матушке, она наверняка была хорошей женщиной. Или вот, Бахмустов — интеллигенция, блин горелый. Но здесь не хер делать умным людям. Да, Бахтин у нас жил, чалился столько-то лет. Но ведь его сюда сослали! Сам бы он ни за что не поехал, не хер. А куда здесь? В институт, в газету, в захудалый пресс-центр какой? В пресс-центр даже хуже всего, это как похоронное бюро: о клиенте либо хорошо, либо ничего. Поэтому здесь — ничего. Ты и сам видишь, что печатаем... Изнасилования, если докопаемся. Поножовщина, кражи. И НЛО, сука, прилетели. Вот так и живём — от НЛО до НЛО. Болото, ты и сам знаешь. А теперь бери, чего ты взял, и вали отсюда. Аванс ты и так уже получил. И чтоб снимки живые щёлкал, этим брать будем. Картинками, натурой-дурой. Альбом иллюстрированный выпустим, хах. Понял?

Понял, раз финочка на первой полосе... И имя её внутри статьи, вот и познакомились — Хелла Туркkила. Вот она — да! — заключил Учайкин, стоя в очереди, и, — пирогов, пожалуйста, с яблоками, — попросил у школьной буфетчицы; по её глазам понял: его не узнала.

*

Учай? — окликнули его в тот же час в Доме печати. Влад Вирясов — одноклассник; никогда не дружили, но такого, чтоб на разных сторонах одной стрелки бывать, тоже до этого часа не случалось. Влад тоже на журфаке МГУ, только мордовском... и тоже в газете, на десятом этаже этого самого Дома, то есть вроде как ситуация патовая: лютые конкуренты, — они на славу посмеялись; а ещё больше посмеялись над Измором, когда Вирясов расшифровал — Известия Мордовии; так и сдружились. Вирясов — Учайкину: как статейство ненавидит, эссе строчит, каждый год обсуждается со стариками на съезде молодых писателей республики, но публиковать его не собираются — вот писал бы на родном — тьфу ты, на одном из мордовских — тогда бы, может, собрались, но он ни одного не знает.

Как-то на съезде заседали — молью проедали время — произошло вот что: в кабинет влетел один зяблик из союза писателей, говорит: Валске марто, тевялга![1] — все так и побледнели, не зная, что ответить. Шумбрат! — выпалил за всех Вирясов. (Ты на нашем говоришь?) — встрепенулся тот, воссиял. Вирясов молчит. (Говоришь или нет?) Молчит. (Глухонемой, ёпт?) Вирясов сквозь зубы: Монь тонь не понимонь. Тот развернулся: Эээ! — а ведь значимая особа в союзе — махнул на них рукой и ушёл, оставив без благословения и, как следствие, без премий — наотрез.

Лезвие... Когда-то оно обоих — и Сашу, и Влада — притягивало, стояло как на рёбрышке. Их отправляли от школы, дождливой весной последнего класса, на очередную лезвийскую конференцию — и на небе, на асфальте, на домах мокрым отпечатком для них значилось тревожное состояние: мальчишек ждали экзамены. И военкомат их ждал — нетерпеливо. Тучи всё бежали и бежали в своём пасмуре, а у одного края неба, к горизонту, словно небесная краска с макушки стекала, и казалось, что зальёт струями весь город. Чуть они подбежали к Лезвию и закрыли зонты, им навстречу выплеснулся бородатый мужчина и спросил: Стихи пишите, молодые люди? Вирясов сказал — да, Учайкин — нет. Это был Громыхин, поэтизирующий

[1] Доброе утро, коллеги (*эрз.*).

тип, всё время заикающийся, всё время скромно поглядывающий — как на девушек, так и на парней.

— А я думал, ты говоришь...

— Нет, не говорю, даже не заикаюсь. Если б говорил, стал бы в русской газете?.. Пошёл бы в Чилисему или Якстере Тешктине и требовал бы зарплату как за десятерых русскоязычных. Ты чего смеёшься?

— Знаю, что чилисема — это восход солнца, а якстере тешктине — красная звезда. И это разные названия одного и того же журнала до девяностых.

— Видишь, ты лучше меня эрзянский знаешь.

— Просто это оказалось несложно запомнить. А ещё... Помню, звездой ты у нас был. Статью про тебя как раз в Чилисеме помню, как зачитывали... Было там что-то в духе трали-вали-секс[1], завуч запнулась, помнишь?

— Раз уж об этом речь зашла, заметил, что буфетчица — это наша, школьная? А знаешь, что я ведь в девятом по ней с ума сходил. Да она и сейчас ничего, молодая ещё вполне. На сколько нас старше, лет на восемь... семь... шесть?

— Да, наверное, восемь-девять.

— Только к ней сейчас и не подойдёшь, раньше такой дурнушкой была, а сейчас....

(И сейчас, — уныло подумал Учайкин, — мордовка мордовкой, как ни гримируй.)

— Может, замуж вышла?

— От замужества краше не становятся. Нет, это их к Тысячелетию приодели, под европейский стандарт. Ну, знаешь, вот и на Коммунистической твоей, на верхах, все частные дома зелёным выкрасили. Я думал — вот это да, как соседи договорились в один цвет... а потом понял. А сколько снесли в честь праздника! Архитекторы городские, архитекторши — прекрасные и беспощадные.

Учайкин понял, куда Вирясова клонит: в старшей школе Саша гулял с одной, все знали; она была чернявой, и к сорока годам её ждали усики, его Ирина — сумрачная подводная Субмарина, — он её так и звал — Риной; собиралась она на архитектурный. Все вечера с ним исхаживала его улицу насквозь, но даже за руку при людях брать не смела. Идут, бывало, и замечают — вот дом сгорел, а только на прошлой неделе стоял целёхонький, ставни резные были, стены изумрудно-синие, а из окон — смех и непроглядные утробы синих комнат. Теперь — горелый пряник, на обугленном подоконнике притаился маленький котёнок. Рина его как шуганёт!.. А вообще была тихая-тихая, сама в таком же деревянном домике жила: зимой на нём сосульки любили расти. Есть такие кадры у Саши Учайкина в загашниках памятных.

— Вообще-то, Влад, я всегда думал, что частный сектор — это низы, а не верхи.

— На четырнадцатом живёшь, вот тебе и кажется всё низами. А знаешь, что теперь самое высокое у нас?

— МГУ ваш, что ли?

— Да, видел ведь? Сложно не увидеть.

— Видел. Как бы тебе подипломатичнее... Хорошо в мировую картину пытаетесь вписаться. Университет как наш главный корпус.

— Наш? А-а, да, ты же теперь москвич! — засмеялся Вирясов. — Ну, значит, москвич, будем видеться здесь пару раз в день, в бесплатном буфете? А я — на репетицию парада. А что? Что смотришь? Курим — свои сигареты, пьём — своё вино, едим — да, едим общественную еду — мы не прихотливы.

*

У него кровь вскипает, когда он слышит стальной рёв, сотрясающий воздух, раскаты соколиные.

Воздух от них дрожал, сердце металось; один так низко пролетел над Домом печати, что Учайкин радостно отметил: упадёт — впечатает. Рядом щебетали, что в центре ночь в квартире стоит десять тысяч рублей, сумасшедшие деньги! Весь женский журналистский коллектив тотчас согласился поселить у себя какого-нибудь венгра, да ещё и доп. услуги предложить. Странно, — думает Учайкин, — как же отец не вселил к себе целый табор... А может, плохо ему? Может, помощь нужна какая? Где искать его, на Электровыпрямитель идти? Туда — нет, ни за что: тиристоры, преобразователи для систем возбуждения, светодиоды. Да какой светодиоид, сущий с в е т о и д и о и т. Всё это отцово токарство и товарищество вечерних выпивох. Его заводская карьера шла по пути обратной прогрессии: из главного механика в техники на подхвате.

А отец десятилетней давности — это Звёздные войны в старом кинотеатре Победа и ежезимний спидвей на Светотехнике: фотоны искрящегося снега и ярчайшие цветные прожекторы, которые он же, отец, делал у себя на

[1] Секс — потому что (*эрз.*).

заводе. Билеты на стадион не покупали — не тратились, смотрели в заборную щёлочку; и всё видели. Это потом щёлочку залатали, а стадион, конечно, снесли, это потом...

Свет и блеск на тысячу люксов в центре города — а в подъездах как всегда: освещение такое, что нуар. За угол завернёшь, во двор углубишься — тоже как всегда: дети бегают, катаются на велосипедах, рвут жилы качелям, учатся у старших материться, выгуливают кукол и ручных черепах. Газоны во дворах гуще, чем рулонные, похожи на клочковатые бороды — черепахи задорно их кромсают; и всё задорнее и живее как-то, чем под гнётом вылизанных стёкол. Детские площадки — да, малышне пока что площадки, но скоро и все площади мира им, — засыпаны песком, заставлены куличиками — у них вечная Пасха, непреходящая. Когда нарастают крылья счастья — тогда и площади открещиваются от своих безумств, но только тогда. В остальное же время на площадях тоже играются, но иначе: митингуют, агитируют, маршируют...

Творожную массу устраивают на площадях, людей сгоняют из своих камор — всех на генеральную репетицию парада. Студентов — под предлогом незачётов, чёт-нечётов, решения их судеб и дальнейшего трудоустройства. Учайкин рад: он же не мордовский студент; опомнись, — доносится внутренний голос, — не сгонят здесь, так сгонят там.

Бесповоротно улицы перекрыты до следующего дня: длинная такая, как похоронная, процессия. К Дому печати — не пробежишь и будешь стоять и ждать, пока пройдёт вся колонна, а это часа на два, прерывать её нельзя. Но Учайкину это как бы невдомёк: обойти колонну он не успевает, ждать не хочет, поэтому идёт поперёк. Сам же снова рад: идёт даже не против, а поперёк, поперёк, поперёкушка. Это с той степенью искренности, когда курточка нараспашку — тело вспороть до душевных глубин. Но вывернись перед всеми наизнанку, вынь сегодня Данко своё сердце — не хватанули бы его на трансплантацию престарелому олигарху...

Он поперёкушка, а студентки ряженые не хотят его пускать, затягивают в своё течение, русалицы, трубадурки, щекочут — бесстыдницы, совсем им забав здесь нет, в этом городе, исполнительницы на автопилоте: что велят, то и делают. Только и забав: за полночь из клубов ехать на такси, а таксистам — гулён этих развозить.

С тем же остервенением, что Учайкина увлекали вглубь, с тем же остервенением полируют-вылизывают окна, чтоб приветственно сияли на ту самую тысячу люксов. Из репродукторов льются частушки, все здороваются друг с другом, потому что весь город давно перезнакомлен; кто мог — передружились, переспали, переженились. Рина... Ведь их что-то поначалу защищало, берегло, но нежность их лакированных встреч скудела — на каждом перекрёстке знакомые, а наутро новые сплетни. И в Москву Саша уехал с двойным облегчением, а о Рине стал думать не иначе как о той, кого необходимо обратить. Он её вытащит из Саранска, а пока пусть так; но первый, второй, третий и, наконец, четвёртый год учёбы так обоих закрутил, что они позабыли друг друга. В Москве Саша узнал, что такое женщина — и каким бархатом она выстлана.

Ему было совсем не весело от частушек, окружающим — как бы невдомёк, что даже эрзяне с мокшанами всегда порознь были: у мокшан — мокшанский царь, у эрзян — эрзянский князь. Драли друг друга только так, скальп снимали, на колы гостеприимно насаживали — без конца и без края, без конца и без края — любя.

Журналисты загипнотизированы процессией из окон Дома печати — бутерброды заканчиваются. Учайкин с Вирясовым, пробравшись в буфет, лениво наблюдают старый москвич около гаражей и невесту с женихом. Она — пятипудовая, необхватная, в пышном платье. Он — тощий, в смокинге. Сидят на бампере и терзают пиццу прямо из коробки.

— Вот на какой машине приехали, голодненькие. А на параде в лимузине поедут, — говорит, зевая, Вирясов.

Жених с невестой доели пиццу и, смеясь, уехали туда, где все дороги были перекрыты.

*

Музей Степана Эрьзи на Коммунистической, эта улица — артерия, на ней в таком порядке, будто нанизаны на линию: квартира учайкинского отца, Главпочтамт, музей, главная гостиница, где живёт Хелла, и кладбище в самом конце.

Музей — оштукатурен, выкрашен свеженькой красочкой, цвет — поникший зелёный. Праздник закончится — штукатурку сдерут, разберут по кирпичикам, дело известное, реконструировать. Людей деревянных, эрзьиных

скульптур, временно растаскают по школам и закрытым запасникам, разлучат друг с другом.

Собрались наконец-то вместе союзные художники — целая свора — ныне живущих в городе и таких, как Учайкин, а ему душно среди них. То, как целуют дамам руки — не тот век, не те смыслы, — руки нужно целовать в таинстве двоеночества или во храме. Цветы в пышных букетах — увядающие, сладкие пирожные, кофе, который саднит нёбо, растравляет червоточины в зубах.

Со всеми художниками Учайкин был знаком по холоповским почти карикатурным характеристикам-наводкам. Вот — узнаёт — скульптор Бодаев, снимающий мастерскую на Сивцевом Вражке, втайне ото всех ляпающий эрьзин бюст для мемориальной доски на Соколе. Забегая вперёд, лепнину его не утвердили, и от мастерской пришлось отказаться. Сейчас он, ничего не зная, беспечно ручки сдабривал и приглашал в московскую мастерскую на чай. Вот — живописец Матвеев — считает себя гением, ведёт себя как гей, продаёт книжки на рынке, на обеды и ужины бегает к дочери, а картошку варит исключительно в мундире и такую же ест, чтоб не срезать лишнего. Или вот — Никуша...

Учайкин отщёлкал художническую свору, а потом пошёл в оперный — и зачем он только нужен здесь, — театр оперный, цвета алый кумач, — не что иное, как бывший Дом политпросвещения. Оно, политпросвещение, как набухшая опара, вышло из стен этих через край — и пошло по улицам. Тут каждая плиточка тротуарная — теперь политпросвещение.

Учайкин около оперного останавливает первую же скамейку: весь день бегал умалишённым, щёлкал — и фото такими же получались. Персонажи, подловленные им и заключенные в чёрную коробочку зеркалки. Схлёстывающиеся взгляды, вышитые узоры и жара, несусветная жара. Солнце, такое долгожданное солнце, словно приманенное на этот чёртов праздник, подкупленное... Эй, солнце, а тебе сколько заплатили, чтоб ты вышло к мордве? Чтоб всё было по-настоящему празднично, а не кось-мось-кумадеру-келунясь. Его, солнце, правда, всё чаще загораживали депутаты — все как один в ослепительных рубашках. От таких и в солнцезащитных очках не упасёшься.

Каждый — видом своим выпиливает, что он — свет, что он на солнце извечно-сущий, единственный. И всё равно каждый знает, что другой на его солнце гуляет и что для него это — то же самое.

Свет отключили, как следовало ожидать, на день раньше — двадцать второго августа. На аванс из Столицы и работу по городу Учайкин купил ящик фейерверков, — за свет не хватило бы, парафиновые свечи были найдены в квартире, — ничего, как ему показалось, больше не оставалось — только фейерверки: раз праздник — то пусть феерично. На перекрёстке Ботевградской и Коммунистической его остановили, усадили в автомобиль и провезли полквартала в МВД, в антитеррористический отдел. Где в одном из сотен кабинетов на столе уже сидел Кечин: хотелось расслабить галстук — не расслаблял, сидел наглухо застёгнут и не мялся, поначалу думал о своём: дома была беременна и вот-вот должна была разрешиться абиссинская кошечка — куда добро такое девать — не топить же, породистые, наполовину... Его разбудил опер за столом, рявкнувший, если б не имел бекасовый голосок:

— На кой хрен так много?

Кечин глянул на него мельком, тот поправился:

— Обозначьте причину покупки пиротехнических средств в таких количествах.

Учайкин молчал. Он смотрел на этого — как тот потом представится — Кечина, а тот казался ему хорошим и — что самое ужасное — давним знакомым. Где же, где он видел эти крепкие бойцовские руки, принадлежащие наверняка пехотинцу. Где он видел... В первый же саранский день, когда Кечин проезжал около вокзала двадцать километров в час и неотрывным взглядом гипнотизировал армейцев; Учайкин тогда подумал, что они вереницей за его иномаркой потащатся.

Вечером девятнадцатого, на самом матче Кечин тоже присутствовал недолго, сидел в ВИП-ложе, непроницаемой для взглядов, так что можно считать, не было его там... Зато Аверкины даже после матча оставались в поле видимости Кечина: в отчёте, пришедшем в его отдел, засветились.

12 тысяч на трибунах, 1658 сотрудников, 500 частных охранников.

Изъято: 6 трёхзарядных ракетниц, 34 аэрозольных баллончика с краской, 56 баллончиков со слезоточивым газом, 60 фаеров, ножей и балаклав — всего около ста единиц.

К административной ответственности привлечено 15 человек.

Пострадавших...

И тут — двенадцатилетний Данила Аверкин, сломавший руку. Кечин довольничал: молодец

пацанёнок, дал жару армейцам, — он не знал, что сын его сослуживца ни с кем не дрался во время затеянной битвы на футбольном поле, просто оступился и сиганул с трибуны. И теперь Кечин не знал — а фейерверки эти дурацкие, а они-то зачем; но поступил сигнал прореагировать — и его отдел прореагировал. По городу плакаты — панда, нафаршированная тротилом — ваш взгляд не рентген. Продавцы пиротехнических и оружейных с особым кайфом доносили на своих покупателей.

Учайкин всё ещё молчал. Теперь уже Кечин — откуда же ему знаком этот паренёк, ёкарный бабай, да откуда же! — не находил мысленного покоя.

— Фамилия?

— Учайкин.

А-а, теперь ясно, всё ясно; он уж было хотел сказать: ребята, пш отсюда, мой. Ну, Санька, как папаша поживает? — и слезть со стола, подать ему руку, пригласить за стол, — сынок, не голодный? — но вместо этого сказал:

— Имя-отчество, пожалуйста. Возраст. Род деятельности. Цель покупки пиротехнических средств.

*

Мёртвыми, — думал Учайкин около оперного, сидя на скамейке у фонтана, — и то лучше будут выглядеть, скрестивши лапки как шпаги, — думал о воробьях. Голуби вились у его ног — круглые и холёные, фонтан ворковал, убаюкивал крошку-учая или Сашу, или Александра Николаевича. Все дни и ночи предыдущие были декоративно-прикладными: намазываешь — ляпаешь, ляпаешь — разглаживаешь... Шумбрат — на каждом столбе. Пробовал на перекрёстке стоять и раздавать эти листовки — промоутерство так называемое, в Москве таких — пруд пруди, протягивают эти листовки (зачастую там полная ересь) с таким умоляющим взглядом, что Саша всегда рассуждал так: я ему подсоблю — возьму и донесу до мусорницы. Но сам взялся раздавать — не пошло: пропагандистской гадостью веет от этого промоутерства, бросил в первый же вечер — коробку листовок у горсуда.

И Кечин ещё со своими расспросами; а уж как Учайкину хотелось поменяться с ним ролями и самому назадавать: зачем вам дворцы такие? Какие грехи отмаливаете в построенной часовенке? Куда на служебной иномарке катаетесь? — по-мальчишески хотелось; но если б вспомнил, что мальчишкой немного знал Кечина, то другое назадавал бы.

— Зачем пиротехника, я вас спрашиваю? — бекасничал опер.

— Теракт ждёте? — соколился Учайкин.

— Я тебе устрою теракт!

— Вы — устроите, — подумал, но не сказал, — вы всегда и устраиваете.

Не хватило воробьиной смелости сказать.

В бывшем Доме политпросвещения Меркушкин стоял на сцене — приученные за семнадцать лет, встречали его затяжными овациями и рефлексивно не могли остановиться. А нынешнего главу Волкова — жидко, никто ещё не знал, что он за республику готов последнюю рубаху отдать.

— ...Мы были частью государственного ядра, которое ковалось в Москве... суть этого процесса тонко понял Владимир Путин... отметив, что тысячу лет назад Русь стояла на пороге государственности... и мордовский народ сделал свой выбор жить и развиваться в общей стране... и все эти века была огромная потребность во взаимном узнавании друг друга.

А потом голос подал председатель Госсовета Татарстана Мухаметшин:

— ...Мы впервые придумали тысячелетие Казани, но Мордовия пошла ещё дальше — придумала и раскопала тысячелетие дружбы народов... тем самым еще раз показав себя в интеллектуальном плане и доказав, что все мы — Россия. Вы построили столько объектов, что мы с завистью смотрим на них и радуемся, что республика становится лидером Поволжья. По итогам Олимпиады в Лондоне Мордовия заняла первое место по золотым медалям на душу населения. Нам с почти четырёхмиллионным населением здесь за вами не угнаться. Ходоки принесли вам международную славу, но я всегда говорил, что ваш главный ходок — это Николай Меркушкин (и снова рефлекс), который опережает всех на длинной дистанции в федеральный центр, где главной наградой являются деньги.

Учайкин продолжал греться на солнышке: идти на пленарное заседание в оперный ему вовсе не хотелось, само это здание вызывало у него приступ астмы — десятью годами ранее в подвалах Дома политпросвещения были соляные комнаты, куда малышню сгоняли лечиться от простуды. Сейчас эта малышня, соль, увы, по-другому нюхает, но вот как были голубями, так и остались — тоже увы. Кинут горсть пше-

на — и рады подлететь, да ещё и поворковать от удовольствия, зобы поднатужить... Чай-чай-учай, по голубиному завету поступил, — корил себя Учайкин, — согласился, что да, Тысячелетие — и приехал. И теперь не просто наблюдает, а ещё и освещает, а это совсем уж другие ракурсы... Он, как фотограф, знает, что освещение творит чудеса. Хорошо, что снимает, а не пишет — это было бы для него невыносимо: слову он не доверял куда больше, чем изображению. Слова, чтобы правдивы они были, их раздевать надо, а не раздувать. А в газете слово всегда раздутое, фальшиво-печатное, приторное, как тульский пряник. Вот что бы он написал? Хочешь отстоять свои интересы — скажи, что они общественные. А вы все — купились. Но ведь это и так все знают, зачем про это писать? Хотя, может, и стоит писать, раз произнести вслух не смеют. Не смеют, как его Рина не смела. Его сумеречная, подводная...

Он уж было хотел поставить себя в цугцванг — безвыходное положение — вопросом — зачем же всё-таки он здесь? — но к оперному подъехал икарус — цугцванг сбился. Учайкин поднялся в автобус, с ним ещё человек пять, незаметно томившихся у фонтана; икарус двинулся полупустым, в сопровождении четырёх полицейских машин — город плавно потащил за собой в полуобмороке. По перекрытой дороге, по левой полосе: центр позади, вот уже по низам — люди высовывались из деревянных своих домов, чтоб глянуть на них. Конечная — экспоцентр, сошли как с трапа — и вперёд — только мордовские ходоки первее, чему, кажется, не были рады. Что делать в экспоцентре — павильоны с предметами хвастовства — макетами построенного и картонками сделанного — разглядывать...

Ожидать; куплеты поются на каком-то электрическом тоне; столпились в этом экспоцентре — солнце толпу настигает. Самые красивые студентки в мордовских платьях, самые красивые из тех, что на лето остались в городе. Пели: седиезе монь аф кирди, алянь-тядянь крайть аф шнамс, эрь да мон, мон аф бокста... Шептались: ну что, едет, едет он? Бывший глава катится... Почтовые марки гасить в честь праздника, но где их было достать — нигде их не было, ни в одном киоске. Учайкину в недолгом сне привиделось, что марок сделали двести пятьдесят штук и они в одночасье разошлись по родне Меркушкина, но сон не воплотился: пять марок, пять штук погасили. Остальные — на Главпочтамт.

Изменился глава: высох, похудел, поистрепался, стал похож на драного лиса, а раньше-то был таким маслянистым, пухло-румяным, с кошачьей хитрецой. Когда он проходил рядом с Учайкиным, тот ему от жалости кивнул и глава кивнул, видимо, тоже от жалости. Послали его под старость — бедный, бедный глава — на волжский берег, в Самару, где холодно и сыро, куда нужно своих, мокшан, свозить, потому что чужим довериться нельзя. Цедит Меркушкин хмельную позу и сквозь зубы прогоняет задуманные слова: я теперь оттуда... так что будем прорастать друг в друга, будем дружить.

Ага, не тужить и добра наживать. Наживать — привычнее всего.

Конца Учайкин дожидаться не стал — отщёлкал меркнущую главу, повеселевших ходоков и самых красивых студенток, из тех, что остались на лето в городе. И в гущице людей, как в кофейной, вдруг увиделась ему светящаяся белокурость, одна только головка её, в профиль. Он побежал, вооружённый фотоаппаратом, на бегу сделал несколько кадров, но и она стала в гуще теряться прочь. Тогда Учайкин приметил среди всех Вирясова.

— Слушай, та компания — кто это такие?

— Финны.

— Понятное дело, что не мордва. Специфика их работы в чём?

— Ну, учёные какие-то, Учай. Этнографы, что ли... или дипломаты... хер их поймёшь, если честно.

5

24 августа

НАКАНУНЕ, как получил вирясовский ответ, уехал из экспоцентра на попутке домой — требовалось выспаться, посвежеть, чтоб вечером, надев белую отцовскую рубашку, пойти в театр на премьеру мордовской этно-рок-оперы. Выбрать лучшее место, прочитать либретто, написанное на четырёх языках, порадоваться русскому языку и взгрустнуть торамскому несчастью — всё талантливое в республике в раздачу пускают.

А она не пришла — только зря выглаживал рубашку, в центр садился, блондинок удил — и отпускал: не та, нет, не та!

Сон его кружит. Кружиться — крови беспечно: в день грядущий этно-рок-оперы нет, как и

веры. Вино дешёвое из бумажного пакета, много вина, чаёк, желание смерти. И опять, чтобы была в его руках — иначе говоря, хотя бы у него на виду. Чаёк и вино, от огорчений ничего не застрахует, как ни проси: застрахуй меня, выражаясь грубее — muera la vida[1] — жизнь, что горше смерти. Его тревожит не смерть, а сам процесс умирания: степенность, облыселая тьма, как падаешь в неё, и — совсем лысое и голое. Забыться — сюда он так не хотел возвращаться! Как и всякий раз — боялся не застать. Приехать — и никого не найти, ничего. И ведь не застал... Не успел, времени не хватило — и привело к катастрофе, к марсианским кратерам, впалым щекам. Теперь только — мать схоронить, отца спеленать. Muera la vida. Арасян, арасян, араселинь.

*

Голову сжимали тиски огромного невидимого орехокола. Учайкин безостановочно пил в буфете минералку инзеру, в скрупулезной задумчивости пребывал, по крупицам собирал финку, школьные годы, так и не проявленные негативы, — несколько раз облил брюки... Вытирать руки фирменными салфетками как-то совестно было, лучше сохранить: так и разойдутся они по коллекционерам и детям буфетчиков, которые лет через сто, если салфетки не истлеют, всё равно на салфетках не наживутся.

— А ты был у них? — расколол его Вирясов.

— У кого? У финнов-то? Был, — неожиданно согласился Учайкин. Чай-чай-учай, зачем выдумывает, нигде он не был дальше Ленинградской области. У него перед глазами растянулись экраны, на оглушительной морозной белизне которых прорисовывалось... Увидит — подойдёт и всё скажет, но правила приличия... Вымарывать такие правила приличия из человеческих кодексов!.. — Был, был — и больше ни ногой. Тоска там зелёная.

— Что же там такого?

— Нечего там делать. Всё как неживое, леса как не наши — голые, высокие. Что тебе рассказать? Людей мало, велосипедов много. Свежо и не за что ухватиться. В общем, у меня о Финляндии образ как о земле без ничего... Но если у тебя много денег, то всё расцветает. А денег у всех много, делать нечего: закрываются в квартирах и спиваются. И я бы там на стенку полез, пополнил бы их статистику самоубийств.

— У нас тоже...

— У нас другие причины! А у них всё законно: пенсии, льготы, выплаты. Миллион наших собратьев на всё готовы, чтоб получить их гражданство, отсидеть себе зад в какой-нибудь конторке, а потом исправно получать пенсию, на которую можно каждый день пить дорогое вино. А под конец и каждый час...

— А разве это плохо?

— Да что же в этой лживости хорошего.... С нами хоть всё ясно. А там... думаешь, что всё замечательно, ведь трамваи ходят по расписанию, а кондукторов билетик проверить — нет.

*

К полудню бывшее Лезвие заточается до невозможности, острее острого. Разорён холодильник с минералкой, и журналисты выдвигаются в центр. Учайкин пока не пришёл в себя, пристал же один — негодует, — грек э-гейский, расспрашивает: из какого агентства — ИТАР-ТАСС или РИА Новости? На что снимаете — Олимпус или Никон? И вроде рожа не смазливая, не Владик же Вирясов с синильными глазками... Какого, вообще, брат, тебе надо?.. Но из буфета не уходит, рассуждает так: э-гейских потерпим, президент подождёт — и так всю страну имеет.

В два часа дня в буфете появляется Вирясов, наконец-то Владик... Весь как хипстер — очки, фотоаппарат, блокнот — перед буфетчицей, что ли. Путин прилетел, — заявляет и уходит; его буфетчицы всё равно нет, не её смена — она на парад завербована за своё чисто мордовское личико в первых рядах идти.

Три-пять метров — и в спецовках убирают павшие на газон листочки. Три-пять метров — в белых рубашках и буравят суровым взглядом; так струнно натянуты, что даже от майского жучка, изволившего на щёку сесть, не отмахнулись бы.

Был Учайкин удивлён маем, когда в Москве первой весной ни одного майского жука не увидел, в детстве — много их было: по пятьдесят копеек за жука, за одни майские крылышки — давали в саранских аптеках, — и вдоволь мороженым наедался благодаря этим жукам. Целые пятилитровые банки набирали! А в Москве... на стадии личинок, что ли, их вытравили... И опомнился: или это вовсе не его воспоминания?

[1] Жизнь умирает (*исп.*).

В Саранске ведь тоже давно не видел, одни солдатики бегают по иссиня-чёрному асфальту... В Москве этих солдатиков нет, зато есть омоновцы, — и здесь эта беркутня — террористов, провокаторов ждут, а как же не прийти, когда так ждут.

По его улице-артерии — как они с Риной насквозь — так пойдёт парадная процессия. Три кордона охраны — с вратами металлоискателей по три раза. Всюду его пропускают, только один раз про объектив спрашивают, что это? — оптический прицел, — проходи, шутник. У Главпочтамта уже не протиснуться. Сколько стариков и детей, Учайкин не поспевает щёлкать: близняшек, ветеранов в орденах, мужчину в инвалидной коляске — телом похож на ребёнка, кисти рук белые-белые, длинные и немощные его, перекатываются медленно, как лодочки. Его руки — вот что Учайкин отщёлкал в нескольких ракурсах, так они его поразили. А Холопов-то наверняка скажет: это ещё зачем?.. Ещё мальчишку — с большими рыбьими глазами, он обнимал мать за талию и за бёдра, как телёнок, тыкался лбом в её ногу; в нём особенно отражалась мучительность ожидания.

— Где Владимир Владимирович... — спрашивает у полицая, сосчитав звёзды на погонах, — будет сидеть?

Тот смеётся как бы о своём, а потом, посерьёзнев:

— Вам зачем?

— Я журналист.

— Вон на той, — показывает на богато изукрашенную трибуну.

Надо на ту сторону, поближе к президенту, — со стаей в галстуках переходит Учайкин, но, дойдя до второй Коммунистической полосы, чует неладное: за ним бегут полицаи, особенно старается тот, к которому с вопросом подходил, ещё и с рацией...

— Куда, откуда разрешение? — окружили, схватили, руки заломили — отличное реагирование; и в рацию: — К трибуне, срочно.

По зову прибегает полицейский — высокий, рассыпчатый, звёздчатый, уводит Учайкина в нейтральную зону.

— Он с болгарской делегацией, хотел под их прикрытием, — жалуются сержантики.

— Кто вы?

— Журналист, написано же — пресса.

— Журналист? Провокатор! Имя?

— На бейджике написано, — и вдруг смекает: — К Кечину, Андрею Палычу повезёте? Привет передавайте от Александра Учайкина.

Рассыпчатый:

— В рюкзаке у вас что?

— Оптический прицел.

— Шутить — за пределами республики будете. А привет передам.

Чтоб глаз не сводил с Учайкина, приставил к нему молоденького: Учайкин — шаг, он — шаг... Неприятно же иметь телохранителя, жутко хотелось врезать ему, но тогда точно встреча с Кечиным заказана и конец его Тысячелетию, Кечин второй раз с ним нянчиться не станет, кто он ему такой...

Час-другой, и пошло-поехало по ходу истории, её гремящей поступью, неутомимым шагом. Конницы и войны, кареты и дамы в кринолинах. Полежаев, Огарёв под ручку с Герценым, Сычков под ручку с Макаровым, Эрьзя в одиночку и Бахтин в одиночку. Пионеры, подгоняемые организаторами: веселее, быстрее, веселее. Кремль проехал на колёсиках с огромными буквами М О С К В А... Кремль под колесом КамАЗа таил пушки — и они бабахнули, выпустив миллионы маленьких золотых блёсток, — все зрители и полицаи стояли в этих блёстках с глупыми лицами. Выплясывали девицы в гжелевских костюмах вокруг громадных самоваров. Брели ангелы с нимбами из проволоки и белыми орхидеями в руках. Темнокожие ребята в цветастых одеждах размахивали флагами своих стран — африканцы с медфака. Ехали на лимузинах подставные молодожёны, та смешная парочка была, они целовались по сценарию — губы от поцелуев уже сводило. Замыкали гремящую змею финно-угры: финны, венгры, саамы, коми, ханты, манси, удмурты, карелы, мари и мордва. Да, в арьергарде — мордва — среди всех Аверкины, счастливые до умопомрачения, колосок и булочка.

Путин всё это безобразие не видел, он тем временем обходил объекты Тысячелетия: площадь, стадион, театр оперный... А потом — к холму за Саранкой, где поджидала сцена и куда по округе вся эта процессия стекалась и растекалась. Поднялся на холм, сказал что-то незапоминающееся — и уже с холма: юные трубадурки и самые красивые студентки из тех, что остались в городе на лето, поджидали его, чтоб принять в объятия и попросить расписаться. Любэ уже голосили со сцены: А ну, давай-давай, наяривай! — а президент бросил в толпу несколько воздушных поцелуев и был таков. Двадцатью минутами позднее сидел на заседании Госсовета в Доме республики, просил подавать любые идеи, кроме откровенно экстремистских, и по-

думать о мигрантах. Что вы предлагаете принять? — спрашивал у первого докладчика, тот растерялся: целевую программу... а то выборы приходят и уходят, а осадок остаётся... — и в мертвецкой тишине добавил: ...От экстремистских лозунгов. Сколько стоит программа? — спросил президент. Да сумма небольшая, — заверил докладчик, — пятьсот миллионов, конечно, всего лишь рублей. И-и-интересная! Там даже цыганская тема есть...

Да-да, хорошая тема, а нас ни разу не оскорбили, даже намёком, — уверял Тултаев, мэр Саранска, рассказывая, как по стране проходили дни мордовской культуры.

*

2013 год

— Если мы встретились с Путиным, — говорил Депардье, — если с первого взгляда признали друг друга, то это потому, что мы оба могли кончить на дне. Я думаю, ему сразу понравилось во мне именно это, моя хулиганская натура — что я могу помочиться в самолёте, боднуть в живот папарацци, что меня подбирают мертвецки пьяным на улице. И я, разговорившись с ним, понял, что он тоже вышел из низов и что за него, как и за меня, никто не дал бы ломаного гроша в пятнадцать лет. Мы оба чудесно спасённые, он — от бомб вермахта, я — от вязальных спиц моей матери.

Актёр снова окрылён, да, он улетел, но обещал вернуться. (Карл-сон, Депардьё-сон). Назначил себя послом республики в мире и передаст привет президенту ФИФА Йозефу Блаттеру, похлопочет о Мордовии, расскажет о ней Лионелю Месси и всем своим друзьям.

— И всё вокруг да около Франции, — будет думать Учайкин, читая в интернете Столицу. — А зачем домой — там ему два года грозят решёткой. Весь мир перед тобой, Жерар, и личный самолёт под рукой — лети куда хочешь. Жаль только, что у меня самолёта нет. Мне домой тоже нельзя, не больно-то там меня ждут. А тебя ждут, наверное. В Париже проводят в твою поддержку митинг, на их плакатах написано, что ты принял непозволительно смелое решение — самодепортацию. Да вся французская страна готова сорваться и депортироваться, родину учтиво оставив заполонившим улочки мигрантам. Вот чудаки, их всех особенно заинтересовал ритуал посвящения в мордву. По-моему, ничего интересного.

*

Когда мимо проезжала М О С К В А, Учайкин понял, что на изукрашенной трибуне президент не появится — его обманули, значит, он не успеет поймать и заключить его в чёрную коробочку... Или всё-таки успеет — но тут либо прямо сейчас бежать к холму и забывать про ждущего его Даньку, либо...

При окне и живом виде с четырнадцатого этажа Данька смотрел шествие по телевизору. Конечно, трансляция была с опозданием перед реальным временем: из окна уже хвост, а по телевизору только начало.

— Старик, ты бы на мать с отцом хоть из окна посмотрел бы.

— Мне их по телеку приятнее увидеть. Санька, распишись на гипсе... И нарисуй что-нибудь с парада. А потом полы помой, мать велела, а то живёшь как в пещере.

— А накормить тебя мать не велела?

— А что у тебя есть?

— Сейчас посмотрим. Как ты справляешься одной рукой? Картошка вот есть, но её чистить надо.

— А я уж привык, и в футболе руки не нужны. Картошку научусь зубами.

— Ну уж, это тебе не голы забивать.

— ...Вытренируюсь, в нашем ФК поиграю, а потом в какой клуб, может, возьмут... Эх, я б у вас в Лужники!.. Эх, сходить бы посмотреть. А лучше — сыграть.

— Хочешь в Москве жить?

— Угу, здесь точно не буду. Как брат — в Нижний, но лучше, само собой, — в Москву.

— Думаешь, хорошо там будешь жить?

— А разве нет?

— Будешь, — спохватился Учайкин: чего это он мальчишке говорит... — Будешь, конечно. Иди сюда, Кремль тебе нарисую, зубастый. Во какой, видел!

6
ЗИЛАРТ

2015 год,
в ночь на 22 августа

— НЕТ, ДЕНЕГ на съезд молодых писателей Макаровой мы не выделим. А то Макарова приедет, а пять мордовских литераторов премии не получат. Одна Макарова, конечно, хорошо, но... Но наши тогда между собой насмерть перегрызутся. Кто же в республике останется?

— Что, прямо так и сказали? — Учайкин делал пятый-шестой круг на вертящемся стуле, а она и не волновалась: голос Леры Макаровой был более чем весел.

— Да, Александр-Палисандр, представляешь? Так и сказали — и это союз писателей! Громыхин собственной персоной...

— Нон грата. Знаю я этого Громыхина.

— А ты откуда знаешь?.. Хотя не очень удивлена: кругом одни и те же лица. Я, приехав в Москву, хотела, чтоб мир расширился, а круг сужается.

Когда они — дальнородственные — встретились на параде Тысячелетия, — а они чаще виделись в Москве, чем в родном Саранске, — Саша упорствовал:

— А ты зачем приехала? Смотреть? Да на что тут смотреть, Лера...

Но она не пыталась ответить; своим нарядным платьем, своей воодушевлённостью говорила, что нечто необычайное начнётся...

— ...И начнётся в Москве, ведь мне исполнилось. Что я добьюсь, что мой слог пошёл. Нет, я не проснусь завтра же — из такой ростки как из сухой ветки — медленно, — но когда-то проснусь.

— Не гони так, не понимаю ничего... Институт?

Её кивок; он заключает Леру в объятия, которые становятся совсем уж нестерпимо-крепкими: толпа мгновенно заполняет собой освободившееся место, роднит их ещё ближе. Морррррдовия! — будешь здесь — исподволь щипать легонечко: а то и заклюют быстрее, если как навалятся такой вот парадностью многотысячной, а надо ведь опериться, ощериться и цапануть как следует. Как хорошо уехать из дома, чтоб сил поднабраться, как Холопов — поднашкериться.

— Лера, — полночь переваливается, натикивает новый день, — слушай, хотел тебе... спросить тебя хотел... а тебе писали из ЗИЛа?

— Писали.

— Вот паскудство!

Хорошо, что в 2012 году Саша сидел на табурете кухонькином, родном, и не знал, что год спустя возвращаться будет некуда; казалось бы, стать пустым местом — хуже некуда. Два года спустя — его пригласят сняться в кино.

Письмо от культцентра ЗИЛа: готовятся съемки короткого метра о Казимире Малевиче. Целый день с шести до двенадцати — двадцать второго августа — и зачем-то банку чёрного грима с собой. С Вас, — пишут из ЗИЛа, — какая-нибудь фотография — это нужно для оформления пропусков, плюс покажем режиссёру, вдруг она захочет дать вам роль побольше. Учайкин своих фотографий нигде не хранит, попыток автопортрета не предпринимал, на главные роли не метил... Он выжидал. И в следующем письме получил подробности.

...Принять участие в масштабном документальном перформансе, почувствовать себя настоящим героем фильма и войти в историю искусства! В Москве пройдет масштабное празднование 100-летия Чёрного квадрата. На территории бывшего завода ЗИЛ из чёрной асфальтовой крошки и белого дроблёного бетона, оставшегося от старых цехов, будет создана инсталляция Чёрный квадрат размером 79,5×79,5 метра — ровно в 100 раз больше, чем знаменитая картина. Это необычное и яркое действо — участие в котором сможете принять и Вы! — даст старт превращению мрачной промзоны в самый творческий район Москвы ЗилАрт, улицы которого планируется назвать именами всемирно известных представителей русского авангарда, Малевича в том числе. Частью перформанса станет съёмка короткометражного фильма о создании инсталляции.

И следующее — пара советов, чтобы съёмки прошли комфортнее:

— Наденьте удобную обувь. Мы сделали всё, чтобы ходить по площадке было легко, но это всё-таки не асфальт.

— Приходите в чёрном или чём-нибудь тёмном. Так лучше для фильма.

— Насчёт головных уборов не беспокойтесь, для всех актёров приготовлены элегантные строительные каски.

Мы хотели бы снять в фильме именно 100 человек, поэтому нам важен строгий учёт гостей. Если вы по каким-то причинам не сможете приехать к нам в гости, предупредите, пожалуйста, сейчас. Мы выберем из кучи желающих ещё кого-нибудь.

Оказалось, рассылка прошлась по студентам, олимпиадникам и, как посчитали, студсоветовцам, короче, по разносортным активистам, чьи электронные адреса легко было найти: молодющим, талантливым, радиоактивным... Но они на участие в перформансе ко дню рождения Чёрного квадрата запротестовать: по радио, в соцсетях, в очередях — не запротестовали. Участники

все как один с размалёванными чёрными лицами, в оранжевых жилетах выйдут на огромный чёрный квадрат и изобразят ноль. Вот эти — молодющие, талантливые, радиоактивные — ноль изобразят!

— Что с них взять, Палисандр, с этих организаторов — устроителей чужих жизней? Им бы в асфальтоукладчики и то полезнее, — говорила Лера. — Пусть снимают такое кино без нас. Когда — сегодня уже? А мы — мы своё.

— Тоже документальное?

— Зачем же? Правдивее... Художественное. Полный метр. И на роль Депардье пригласим Депардье.

— А он согласится, разве он уже не сбежал от нас?

— Что ты... Слушай, что он пишет, я сейчас найду... Ты только со смеху не умри. Вот! В Саранске, где я живу, в семистах километрах от Москвы, мне случается остановиться на улице или на краю поля, чтобы послушать, как поют женщины. Слушай хорошенько, — говорю я себе. В этих местах все женщины поют, и если я стою под ветром, то могу оставаться так часами.

— Наверное, на самом деле они плакали... А про что фильм будем снимать?

— Как про что? У этих столетие, а у нас Тысячелетие есть.

— Это ж сколько массовки надо. Заново, — хмурился по телефону Учайкин, — что ли?

— Ты ведь, кажется, не против, если приедут, например, финны? — она много чего ещё говорила то ли веселясь, то ли всерьёз, а потом начала опустошать загашники своей памяти, там у неё хранились, пусть и не полноценные кадры, как у Саши, но тоже кое-что...

— Тысячелетие! — передразнивала Лера, — я ведь в школу пошла в год миллениума, с нас оно начиналось, тысячелетие. На линейке нам об этом прямо так и говорили. Поздравляли не просто с начатой учёбой. Желали не просто пятёрок. А теперь — нулём?.. Искусство, да, такое? А мне кажется, пиар. Какая там территория, сколько домов можно построить?

Несколько месяцев спустя запустился проект — постройка жилого элитного квартала ЗИЛАРТ, где для таких, как Учайкин, — не было ни одного квадратного метра... А он теперь был официально без определённого места жительства, без национальности и, может, в скором времени и без гражданства. Хоть с Депардье местами меняйся...

— Никуда от неё не денешься, — говорил когда-то отец, — Родина... мать твою!..

— За ногу! — добавлял сын.

*

— Санька, подгорает. Санька, мать вижу! — очнулся Учайкин, да не туда... Кроватка с высокими бортиками, от отца гарь, он пытается засунуть ему в рот ложечку с чем-то горьким, кроха-учай не сдаётся: крепко стискивает зубы. Мощное снотворное, никак не для детей — кроха-учай будто знает, что этот сиропчик погрузит его на полдня в небытие, а он никак не хочет в небытие, он хочет скорее жить, ручонками за бортики цепляется.

7
Одна только Хелла

ЛЮДЕЙ НЕ ПУСКАЮТ домой, за хлебом — не пускают. Хорошо, что без автоматов, с электрошокерами. Расчленили весь центр на сектора, скобами железными границы обозначили. Всем раздали пропуска по месту прописки: для равного количества людей. В другой сектор просто так не пройдёшь: омоновец не позволит, а протиснуться попытаешься: провокатор!.. не нарушать массовость сектора, назад. Президент, — говорят, — народ свой боится, он же один, а нас много... И только пропуск прессы или организатора обозначает дозволенность; прессы и организаторов президент не боялся — побаивался.

Скобы эти — не обнимешься через них, да и омоновцы растащат в разные стороны... И плевать им, что, может, тысячу лет вы не виделись и столько же предстоит. А Учайкин знал наверняка, что уж здесь, в этом серпентарии, он отца встретит, нарочно в центре сосредотачивался... Чернавина, многих одноклассников, соседей и даже первую свою девочку, растлённую им на поцелуй, и снова Чернавина, и показалось, что Рину, и друга, заведующего муз. училищем — он их всех повстречал и увильнул от них, сделал вид, что не заметил. Густые человеческие лица — будто незнакомые — знакомые, но с новых ракурсов; он их в чёрную коробочку фотоаппарата заключал, больше ничего — мотыльком бездействия, порханием. А отца увидел — как крикнет!.. Потолкались у разных сторон одной скобы — и всё... Несказанного не оказалось, а разговоры разговаривать было не к месту.

Его... — а Саша чувствовал наверняка, — в гуще людей ждала женщина. Поэтому был так тороплив, поэтому не захотел идти до пропускного пункта, может, квасу выпить вместе — духота. Ничего, — сказал отец, — на днях тогда зайду, чаю выпьем или чего ещё. И он понял: всё так же, значит, теперь — вдвоём, что ни рюмка — на брудершафт, всё-таки воронка с химией, всё-таки...

— Постой-ка, — вспомнил отец, — я ведь это... решил как... продаём мы с тобой квартиру... Я это уже давно решил, не первый год думал. Ты всё равно там не живёшь. Я... Да что я, ну это самое... на днях, в общем, расскажу... А сейчас покупатели хорошие как раз, иностранцы. Цену не спросят, какую скажешь — столько и дадут. Им тут работать приспичило — вот и пожалуйте. Кстати, давай-ка, запиши ихний номер, это финны... Восемь-девятьсот... Если раньше меня придут, будь другом, уважь — проведи, покажи... Разберёшься, короче, старик.

— Я тебе не друг, и сам ты старик.

— Давно уже... — кажется, и не обиделся, — давай лучше позвони им дня через три. Оклемаются после праздника — и позвони... Я там, в квартире, куда-то очки запсотил... Хорошо, что вспомнил. Ты это, посмотри уж, где найдёшь, может. А то никак без очков, даже газеты не читаю.

— Вот и не надо.

— Да просто интересно, куда запсотил. Сам-то надолго?

— Проездом.

— Ну, короче, это самое... зайду я... На днях, да.

— Подожди... Как ты сам-то?

— Потихонечку, — улыбается без улыбки, руку протягивает. — Ничего так.

Обещанных Соколов всё не наблюдалось на вечереющем небе — ни с площадной точки, ни с крыши Белого дома (куда забрались уборщицы, случайные ВИП-зрительницы), ни из снайперского прицела. Учайкин без раздумий набрал номер, после длиннющих гудков ответила женщина, не его... попросил у неё в срочном порядке номер другой — Хеллы Турккила, — якобы она хотела осмотреть квартиру. Какую квартиру, а вы кто? — спросили его, — риелтор, — ответил Учайкин, и женщина номер продиктовала — так запросто.

Но Хелла квартиру покупать не хотела, она его хотела. Два профессора и директор музея ей давно наскучили, остальная научная братия — тоже. Всё время либо со своими финнами, либо одна, чаще одна, да, гораздо чаще одна, совсем одна, одна-одинёшенька: хоть ты круглый, хоть гранёный, хоть с крючочками, как я.

*

За первый же площадной дом она повела Учайкина — захотела курить. Надеясь, что безлюдное место попадётся, там бы она с грехом пополам. Это были обычные гаражи самого затаённого двора — обшарпанные, глухие. На слоистом асфальте газовый баллончик, смятый ногой; из одного такого баллончика Холопов мог выдуть историю на полполосы.

Нежность взяла Сашу за горло — около этих неказистых стен — голожаберная ёжность ко всем... Тем — что ждут Соколов на площади, курят у гаражей или сидят по каморам, полагая, что их не коснется, — всех что-то уроднило — от последнего алкаша (которым может стать его отец) до первого депутата (которым наверняка станет Кечин) — все нянчились с этим Тысячелетием: говорили, говорили, во плоть приводили, выродили такого вот — трогательного уродца.

Виделся Учайкину и птичьего лёта Саранск: всё, что заново его облицевало, и значит, олицетворило — гипсокартонными декорациями. Тогда, сменив нежность, цапанула жалость — а Хелла всего первую сигарету докуривала, она не догадывалась, как её дымок растрогал и обнажил Учайкина, он перед ней уже весь, без отцовой рубашки и свойских портков — какой есть: даже Тысячелетием проникся, полюбил его.

Ненадолго. Хелла прикончила сигарету и задорно кивнула: вперёд, мол, — чуткое женское нутро распознало рокоты истребителей.

Самые фортовые позиции оказались у снайперов и уборщиц: им лучше всех видно, как Соколы носятся. Так носятся около половинки луны, что, кажется, сметут её напрочь, будто это они слямзили ей полбока — а она и рада до́ смерти быть такой. Учайкину вспоминается: катались с отцом на санках с Ботевградского спуска, вот уж были там лихие виражи и кочки отбивали душеньку; едешь так, что только огни высоток проскакивают мимо и луна шатается в небе тоже довольная, как сейчас, томная карга. Там, в детстве, он вре́зался в самодельный мосток через Саранку и чуть в неё не свалился, а свалился бы — точно разбился, лёд был крепок. И ведь что-то его удержало: чуть — и удержало.

Это крошечное, это наномикроскопическое — чуть; вот и сейчас — чуть-чуть и сложилось: она оказалась одна и близко, в соседнем секторе, она не сказала нет, и во взгляде её читалось ещё больше вызова, а может, просто стенала скука.

По набережной — сладостно-радостно-игристо — они шли, теребя друг друга русскими словами, — в тех смыслах, что понимал он, и в тех, что улавливала она; говорила, стоит признать, слишком хорошо. От одного берега смысла к другому, как огромная ладья по речке Саранке — плавучая сцена, на которой кружились танцовщицы в сверкающих одеяниях. По центру города вспыхивали тут и там софиты десятков таких импровизированных сцен — десятки концертов. На площадь Тысячелетия — смотреть новый фонтан, поедем?..

После парада газоны, рулонные стратегические, ядерно-зелёные, вытоптаны: финка хочет босоножки сбросить — Учайкин её останавливает: осколков много; она вплетается в хороводы, смеётся без умолку — Саше лишь бы не упустить её, за руку держать — от рьяных желателей удерживать; хоровод завлекает и его, плещутся. Он сам себя не понимает; логика, скажи, силясь всё-таки быть, — мои неведомые корни просят танцевать — а им зачем? Но Хелла просит — и он танцует. Плечи у неё красные, на солнце за день обожжённые, его руки поверх — смех-пересмех. На площадь Тысячелетия смотреть новый фонтан, Хелла, поехали?.. В автобусе поздравляют кондукторшу с праздником. На каждой остановке кричат заходящим: Шумбрат, ялгат![1] — шумбратное в ответ получают... Счастье-то какое, счастливость беспредельная. Всё даром — всем и ото всех. Комм цу мир, майн дарлинг, дай я тебя обниму. Комм цу мир, паро мель марто, мерси-мерси, это же коммунизм, настоящий коммунизм!

И привет от президента — не его собственным голосом, на одном из перекрестков... Гаишник, карауливший президентский кортеж, закричал своему напарнику на другой стороне дороги: держи людей, выехали!.. Хотя нет, этого привета Саша и Хелла не получили — не услышали.

На площади Тысячелетия фонтан по-китовьи бил струёй в небо и рассеивал водную пыль, они стояли мокрые и разгорячённые — то, как холод опускался, не чувствовали. Богатый георгиновый салют полчаса лизал небо — три трёхкомнатных квартиры в центре города пустили на воздух. У обоих была уже земляничная — как первая любовь — жажда, и от вспышек, от грохота разболелась одна на двоих голова, захотелось дико есть. Их задаром кормили в ресторане на Московской: накрыли стол с цёмаратом, позой, крахмальными блинами. И ещё яростнее кричалось — Шумбрат! — на ресторанной вывеске висело зазывающее — каждый желающий может попробовать блюда мордовской национальной кухни... но в темноте посидим вдвоём.

Да, Хелла?

Звёзды глазеют — голодные пескарики. Чего подглядываете?.. Как они здесь оказались — Саша с Хеллой — у мемориального кладбища в самом конце Коммунистической — не помнят, наверное, вдруг. Раз — и на троллейбусной остановке. Ветвистые берёзы окрашены разноцветьем от фар проезжающих машин. А на дне медного таза — на, ешьте, голодные, на, — чёрном и глянцевом от воды, эти голодные пескарики ими насыщаются. Добреют, подмигивать начинают. Совсем теперь ручные. Рядом, в одном из переулков Коммунистической, кажется, он называется первый или второй Советский, есть дом общего моления: евангелическо-лютеранские вороны на берёзовых вершинах. Всё тебе, Хелла, будешь со мной? Подмигивают.

Раньше, как Саша возвращался из Москвы, домой не заходил, а сразу шёл на это мемориальное кладбище или так, ненароком, когда гулял, заходил. Кладбище это мёртвое, никого здесь полвека не хоронили, последних — героев войны. Здесь, в середине его одиннадцатого класса, у них с отцом был недолгий, но всё решивший разговор: смеркалось шустро, карминовые блекнущие звёзды на могилах, синие дорожки, которые они протаптывали на нехоженом свежем снеге...

— Боишься? — спросил отец.

— Нет, — всхорохорился Саша; вот и весь разговор.

— А вот и зря, — не успокоился отец, — живых хотя бы есть за что бояться... А Москва... — отец принимался рассказывать, что такое Москва в его понятии, заключал неожиданно: — Как ты не понимаешь! Я просто хочу, чтоб жизнь у тебя склалась!

— Да, — кивал Саша.

— А Москва... — и снова... — Москва — это скопище языческое.

— Ты хотел сказать капище?

— Да всё я сказал, что хотел. Хочешь — едь.

---

[1] Здравствуйте, друзья! (*эрз.*).

— Поезжай, отец.

— По-ез-жай! — передразнил отец, — грамотей... а мы остаёмся.

*

Он уже себя корил, упрекал и стыдиться заранее начинал. За то, что его слова прозвучат, как из мыльной этно-рок-оперы, но всё равно сказал:

— Мы с тобой, получается, одной крови.

Впускал Хеллу в квартиру, зажигал парафин, внутренне ликуя, что намыл полы: она босоножки скинула и босиком пошла.

— С отцом как, спрашиваешь?.. Ну... Нет, даже не на русском, всё чаще молча... Он у меня из непомнящих.... это такие... люди, которые не знают, кто они.

От кого только урона больше, вот Аверкины, родные, — верят чему ни попадя, но у них-то сомнений нет...

Накануне Тысячелетия Учайкин заходил к ним с коробкой китайского зелёного — невыносимо было одному вечерами до работы сидеть. В Москве тоскливости такой никогда не было: из общежитской комнаты пар шёл, работа кипела, контрабандой принесённый чайник свистал без умолку, чай по десять раз заваривали — одну и ту же заварку.

— Ээ... вот это квартира! — кряхтел Аверкин, примеряя рубашку, — кругом подносы — никто за столом уже обедать не хочет, это о чём говорит, Саньк? О цивилизованной жизни. Время идёт, а финно... угорские... эээ, да не вымирают... народы эти.

— Я больше всех получаю, — кричала на кухне Аверкина. Саша не понимал, откуда тогда в её голосе столько негодования. — Да, я больше всех получаю! Мне больше всех надо! Опять выговор — и два отгула сняли. Видали, снова получила! Я — выговоры, а он на парад собирается. Хоть бы слово какое сказал, жену успокоил!

— Не вымирают, говорю, — настырно повторяет Аверкин, крутясь у зеркала, никого не слушая. — Эээ, только в паспорте русскими записываются... раньше в паспорте, а сейчас в свидетельстве о рождении, — и останавливается в зеркале: — Эээ! Всё одно: вымирают!

— Значит, ты есть непомнящий? — очнулся Учайкин на голос Хеллы.

— Нет... эрзянин я наполовину, по матери.

— Немножко...

Но он не расслышал; непомнящий — гудело в нём... отец, — подумалось, — а где похоронят отца? С ней ли — тогда в Каймарах, откуда она родом и где покоится со своим родом. Покоится... А раньше по обычаю не покоилось, не лежалось им: родня доставали, из могил вытаскивали, обряжали заново. Обычай таков.

...На кровати-то двуспальной ему сладко спалось, а теперь отец, ляжет ли он рядом с матерью? А где же лечь ему, у него дед, отчества деда не помнит, да он себя не помнит — и так много раз. Меня тогда, — думается Учайкину, — совсем не надо — сожгите в первом же дворе, в первой же подворотне, сигаретой её — чьи волосы как пакля, неестественно выбелены в свете простых парафиновых свечей, чьи руки сплошь в фенечках — как в оберегах.

— А эрзянки красивые? — спрашивает она. — Ты как считаешь?

— Красивые?.. — он подумал: да как же они, в самом деле, выглядят? — если вспомнить материны фотокарточки, нет, не вспоминается, от матери ни одной не осталось... — Красивые, Хелла.

— А...

— Мокшанки? Наверное, красивые. Хелла, а финки какие, а?

— В русском же есть слово... финки — острые и холодные!

— Неправда, — она в ответ вся прогибается и втягивается в него поцелуем, а потом резко отталкивает.

— Но-но...

— Финки, говоришь? У меня есть одна, хочешь, покажу?

*

— Не дёргайся! Кому сказать: не дёргайся! — как только это оказалось, что он так беззащитен, а она наоборот — с его же ножом. — Это ограбление! Что в доме самое ценное? Неси.

— Хе...

— Молчать! Чтоо, — от напряжения она начинает по-фински тянуть слова, — самоооое ценноое...

— Ничего, — бесцветен его голос, — всё бери, меня отпустишь? А я тогда пошёл...

— Эй, Сааааша! Я пошутила, я... — смеётся. — Это... Это финская ирония. Наверное, так.

— Всё нормально, пойдём, — он достаёт коробку из-под стола. — У меня здесь целый склад боеприпасов, пойдём взрывать?

*

Чёрный дирижёр дал громкую ночь; в квартиру входили — дрожали: резко похолодало — ночной августовский мороз, а коробка пиротехники — это ведь надолго.

— Коньяк есть? — спрашивает она. — Водка есть? А хотя бы молоко есть? Заболеешь, Саша... горячее, согрею, чтобы ты выпил это... — и из сумочки достаёт крошечную банку, светящуюся на просвет янтарём, — для тебя.

— А ты знала, что мы встретимся?

— Нет, конечно. Мёд подарили на параде... или в ресторане... или... я не помнить.

Они вместе дули на молоко. — Дуй, дуй скорее! — кричал Саша, а Хелла смеялась, и молоко, конечно, поднялось сахарной пеной и убежало, залило всю плиту.

— Мёд, — говорила она, — как много дарили! Я всё отнесла в отель, а эту забыла. Как я поеду обратно домой, я всё не довезу!

— А ты оставайся, — гладил он её разалевшиеся плечи, густо-красные, но пока ещё не болящие. Сарафьян ляной, — путала слова Хелла, — лямки спадали на грудь. Она сдёрнула свой белый парик и показала гладенькую, в синеву бритую голову.

Запечатлеть бы, но как запечатлеть? Полароид! — вся плёнка просажена на безделицы, а тут она... и плёнки нет, ни кадра. В саранском фотоателье задрали на проявку немыслимую цену: они плёнку проявлять отсылают авиапочтой в Москву. А где-то ведь лежит отцов Зенит, тот самый, что ранее советский, а ныне хипстерский. Настоящий отцов Зенит: солнце кругом — в Гаграх, в Сочи... Интересно, где он сейчас.

Валяется в цветах, утомлённая... и пусть жиденькие лютики только нарисованы на ситце — пахнут полем; мятые лютики, мятые простыни. Никто не спал на его кровати, а теперь она; сразу с ним в учай-крошкиной кровати. Доброе утро, Хелла, ещё только полночь — не разъединиться, не наговориться — взахлёб: за одну ночь решили опустошить её двадцать два и его двадцать три года. А его за двадцать три уже уносит, если начнёшь вспоминать: наслоения акварельные, лессировки. И как вы только!.. по пятьдесят, по сто лет живёте — одна больничная ограда (вот если мимо-то пройдёшь) может выродить шквал воспоминаний — громоотводы не спасут. Противосудорожное и против астмы, его дородная синяя сумка, хлебозавод, заводной апельсин, пожар, работа в гардеробе, плесень провинциальная, серая — клеймёная. Уж у кого-кого, не заливай, — говорили саранские друзья, — а у тебя точно жизнь не серая. Не серая, а какая? — хмурился. — Серо-буро-малиновая — вот цвет моей жизни.

Серо-буро-малиновым его выгнали из школы Родченко — сумбурный был, ветреный, снимал хорошо, но мало и всё заигрывался: то с цветом, то с формой, особенно со всеми этими иллюзиями... Бензинными пятнами, зеркальными плоскостями... За такое, конечно, не выгнали бы, но ведь сам растворялся в бензинных пятнах, в зеркальных плоскостях — любил фотографию, поэтому, наверное, и снимал мало. Слился, — обычно говорят про таких, а потом имя этого, предпочетшего сливную раковину, вспыхивает на какой-нибудь выставке. Или не вспыхивает.

Когда-нибудь, года два спустя, он себе пощады давать не будет: будет только на ч/б щёлкать, так сложнее — чёрно-белое оставляет половину свойств — это уже без заигрываний; когда-нибудь он вернётся в школу Родченко, чтоб уж наверняка её закончить.

— Когда ты стал фотографировать?

— Лет в двенадцать, отец подарил мыльницу... знаешь, что это такое?.. Премьер... Я тогда с этой мыльницей вдвоём всё лето в деревне провёл, не мог оторваться — всё хотел заснять.

— А что это за деревня, есть она? Какой там мир, уклад?

— Хелла... Это был настоящий горячий мир. В этом мире... мы шли в галошах по сухой от солнца рассыпчатой земле... а она поднималась облачками. Там запах черёмухи... горьковатый. Знаешь... Знаешь, а моя бабушка-эрзянка... она с девяти лет вышивала платье, чтоб в этом платье за моего деда пойти... Я у них в сундуке находил... да чего я там только не находил!.. А ещё... Знаешь... Там так свежо и ароматно, что всё время голодно. И как-то светлее там, чем в городе... и глазам, что ли, зорче. И дали яснее, и что дальше — тоже яснее.

— Где это, Саша?

— Там мама родилась, Каймары. Нищая и грязная деревня. Терпеть её не могу.

— Ты говорил о ней тепло...

— Потому что тепло, Хелла, это не о Каймарах.

— Что ты хочешь сказать?

— Что хотел — то и сказал.... Извини, нет, чего это я... Я хотел сказать, что после детства живёшь в скорби по нему, прошедшему. Выудить отовсюду своё детство пытаешься. Даже вот

праздник — он ведь для детей, они его празднуют, а взрослые отмечают.

— Отмечать? Я не знаю, что такое отмечать! Мы празднуем.

— Да, Хелла, мы с тобой празднуем.

А отец, — опять подумалось, — наверное, поминает. Сидит на мемориальном кладбище, цветное яичко о крест цокает и склёвывает с грачами. И у него там мрак на сердце, а тут лучистоть такая... Когда такая вот лучистость, живя в застенках обид, тогда и обид, конечно, не чуешь. Даже если б страшное увидел: отец вместе с ней, с Хеллой, и отец — моментально, раз — и тут, и этим вечером совсем незнакомы Саше, — стерпел бы, всё равно бы счастье чувствовал. Он только перед рассветом в монотоне от невозможности полного обладания и от того, что ночь идёт слишком гладко, опомнился. Просто вдруг на рассвете, когда Хелла спала, а его томила бессонница и нахождение в чужеродной — он явственно почувствовал, что в чужеродной, — среде, плечи потеряли форму, обмякли. Горе нашло свою грозу, взвилось и ударило.

Он стал, тоскуя, бродить по квартире, все её углы обтёсывать — просторная квартира, но отчего-то не жилось в ней. Пригляделся — и вот, кажется, что стены оклеены газетами, воздух подвижный — знаком ему. Отец сидит за столом, подперев подбородок кулаком. Решётчатая скумбрия, самарское пиво. И никаких обоев с абстрактным рисунком, студентов-журналистов, вялого зелёного чая, по десять раз варенного, газет, метро, циников, надежд и возможностей — ничего нет; Москва ещё не наступила; ну, здравствуй, папа! — аритмия сотрясает твоё здравствуй.

Тогда-то он понял — больше всех Саша перед отцом виноват, он один в ответе за отца оставался. И вот бы что сказать, вступиться за отца, оградить его ото всего плохого, как дитя, тем более что сам за себя отец не вступится – промолчит или, хуже того, молча согласится. Это затаённый страх непомнящих — не оказаться чужим, а быть своим где бы то ни было — это затаённое напутствие непомнящих своим сыновьям. И когда только отец сделался таким безропотным... Помнится, солдат он расстреливал только так — пульки рикошетили во все стороны. Или это и было его молчаливым согласием... Старик? Давно уже!.. А Света в крохе-учае не нашлась; за это Саша отца винил, что мать не уберёг — а теперь и забывал, грачём-прихвостнем взъерошивался в поминальный день — и больше ничего. Поэтому, что ли, так в нём раненый сокол просыпается, когда отец подбивает клинья... Но больше-то, конечно, виноват он сам, Саша.

— Не так давно, — говорит ему Депардье, — снимаясь в моём последнем фильме, я оказался для съёмок одной сцены на кладбище в Буживале. Я видел могилу Гийома, в которой он больше не покоится: мать его забрала. Он теперь на камине — его прах, — очки сверху и кресло рядом. И старый номер Либерасьон валяется там, покрываясь пылью. Вот откуда они берутся, дерьмовые воспоминания. Не надо цепляться за воспоминания в жизни, пусть они живут у тебя в голове.

— Твой сын для тебя — дерьмовые воспоминания? А я — сам, я — сам! — кричал Учайкин, — сам дам название своим воспоминаниям. Я — телескоп, микроскоп, блоу-ап — выставляющий планы.

Зеркалка у него в руках, он таится в спальне, чтоб с рассветом заснять Хеллу, своей бритоголовкой похожую по очертаниям на... что за существо!.. белый ламантин. Морская корова — соски сочатся молоком, череп просвечивает сквозь кожу. Вспышки будят её человеком, она смеётся, просит сигарету, встаёт и находит в стенке отцов табак — в Сашу на мгновение подозрение вкрадывается, — сворачивает самокрутку и уже курит; и Саша когда-то курил, но бросил — дорого. Домой с тридцаткой рублей возвращался — ей ещё смешнее, ему — не очень.

— Как такое вообще... Вы... Как это, Са-аша? — как начинает нервничать — русский её ломается, дрожит. — Как правильнее — раздолбаи?

— Правильно не так, правильнее жёстче...

— Что это? Ты шутишь?

— Нет, это наша русская ирония. Что ты смотришь на меня, Хелла? Что не так?

Она молчит, укутавшись в лютиковую простынь — импровизированную тогу, — не понимает, а он говорит, говорит, говорит... И зачем только он это рассказывает, как будто хочет оправдать своего отца. Аверкиных своих, с восторгом хранящих, как обряжались хлебобулочными изделиями под комсомольский вой. Кечина, ничейного Кечина, — из мелкого рэкета в рейдерство, из рейдерства в ФСБ. Чернавина — партийно-монархического... Холопова — хлоп-хлоп, топ-топ. Всю страну оправдать хочет, что прячется под лоскутным одеялом. Где-то в этой пестряди лоскуток, похожий на бегущую лиси-

цу. От чьих стрел бегущую? Она — хеллическая блондинка, чтоб соответствовать нордическому типажу, а под париком солидарность с Pussy Riot иметь, — говорит правильные предложения: миссия у неё такая, дипломатическая — финно-угорские народы соединять, способствовать росту их национальной самооценки. А что, если мордовская самооценка так вырастет, что захочется отколоться от сахарной головы...

Нефти нет, — думает Учайкин, — газа, достопримечательностей... нет... ничего нет, пропадём... Знаем, что пропадём, поэтому и свидетелями разноцветья записываемся: лжём, мимикрируем, сливаемся, — дождёмся совсем, возрадуемся. Лишь бы хоть как-то выжить? — хоть под чужим лицом, с чужими генами, со среднерусским оттенком глаз. Мордовские рожи, они ведь, вот именно *рожи*, но зато так честнее было. Теперь же — верность отчаянно доказывать: день города в день страны. Какой-нибудь незаслуженный поэт республики ещё и ораторию-кантату сложит на это, а незаслуженный артист республики споёт. Отколоться... Стать по-настоящему республикой. Мордовия Либре. Финно-угорскую федерацию создать со столицей в Перми, — так она говорит? В Венгрию и Эстонию стали бы ездить, как в соседнюю область, в Финляндию летать... Эх-хе-Хелла... С этим горем мы справимся в одиночку.

*

Не ложился, всё ждал, как совсем просветлеет, рассветёт, хоть что-то станет ясным — и день начал с чашечки крепкого — как же задолбало всё, вашу мать, — вылил в раковину. Табурет пнул от злости, тот жалобно пискнул — ножка сломалась. А следом холоповский фотоаппарат — чёрная коробочка с тысячелетними мороками внутри — стоял на незастеклённом балконе и — неловкое или нарочное движение — свалился с четырнадцатого этажа. Вдребезги. Учайкин покидал вещей в рюкзак и ушёл.

Сон Хеллу берёт, овладевает — то ли заговор, то ли рассказ нашёптывает, ледяные свои пальцы запускает — и запуталась она совсем. Хелла — взморье, песчаные берега — есть берлинская лазурь, а есть охра хельсинков. Хелла — чувствует разный ветер — в течение двенадцати месяцев. Школу экстерном, русский учила, теперь по финно-угорским пошла... Без оглядки, сполна, босиком...

Газоны Коммунистической усыпаны блёстками из кремлёвской пушки, их так и не убрали, и они всхлипывают в рассветных лучах тоскливым золотом. Ангелы, поднимая фонтаны мутной воды, разоблачились, упаковали в коробочки крылышки — и остались простыми детьми.

Своим любимым постылым маршрутом — Учайкин по набережной; у берега причалена ладья — по обычаю пустить бы её на воду да сжечь. И вкрадывается в Сашу — во всего него, даже в рюкзак, даже в оставшийся от фотоаппарата второй объектив, сквозь который он привык за эту неделю смотреть на мир, даже в его наполненный до отказа полароид, — что-то тягучее, нефтеподобное, растекается по всему нему.

Флаги на площади Победы поникли на цапельных своих ножках, как тряпичные, а не вымпельные. Лезвие затупилось — обесточилось, обезлюдилось. Тучи сгустились, и стало накрапывать тем, что эти пару дней копилось и сдерживалось благодаря ядовитой бомбардировке бывших кукурузников. Дожди теперь будут потусторонними, открытыми, как стеклянное знамя, укрывающими.

Кечин бежит под зонтом к служебной машине — спрятался и ангелом, мутные фонтаны воды поднимая, умчался; и куда же он на служебной своей — на набережную: сесть там на скамейку и выпить бутылку самарского, пока народ не набежал, пока никто его не видит. И вздохнуть. Тысячелетие? Нахлебались — хорош. Невмоготу.

Тем временем с аэропорта вспархивают несколько дополнительных мелкокалиберных Анов, что сподряжали к празднику, чтобы все гости могли улететь. В одном из них Учайкин — билет равен всему, что он тут заработал.

Поднимаются на километр, на два, на три — Саранск сокращается, сжимается до родимого пятна, пупочка, совсем исчезает. Учайкин смотрит в иллюминатор на эту метаморфозу, но после того, как увидел, пусть и мельком, крышу своего дома — больше ни о чём не думает: там, в его комнате... Ключи на кухонькином столе, поломан табуретик. На асфальте у дома фотоаппаратные осколки позвякивают в лучах. Что бы он Холопову сказал, принеся эти осколки — и ни одной фотографии. А что бы Холопов ему? — охренеть, мягко говоря, так сказать. Такой вот цветной чувственный лом. Теперь ему и снимать не надо: сдёргивать со всего личины, сличать с реальностью, — некогда, надо жить. Жить тем, что есть. Когда-то ведь, кажется, получалось. А там, в его комнате... Там, в его постели. И прорастать, кажется, — получалось, а отпразд-

новать до конца — с трудом. Трек-лист противосудорожный, приступ астмы, холод, — входим в зону турбулентности, пристегнуть ремни! — стратосфера, Космос, самое драгоценное... Там, на его подушке.

8

НА СЛЕДУЮЩЕЕ утро деревня неподалёку от Саранска перешла на чрезвычайный режим — архимандраж: собственным святейшеством прилетел Патриарх Московский и всея Руси — в детский лагерь, год назад им благословенный. Асфальтовые змейки, едва заворачивая за угол, обрывались. Кучи строительного мусора были спрятаны за фотообоями с прошлогодней патриаршей побывкой. Но он ничего не видел, ему всё нравилось, он лучезарился и говорил: нашему молодому поколению... предстоит многое сделать в непростых условиях... оно не имеет никакой защиты... вы прикасаетесь к компьютеру, к мобильному, к айпэду... и перед вами открывается мир... — Данька сладко зевал, стоя в детской массовке, — не поддавайтесь искушениям, не верьте лжи...

В Саранске не переставал накрапывать дождь, хотя площадь Победы кружила людей, и все, учуяв необыкновенное для последних дней посвежение, выходили гулять... Вот идут крошка-сын в кепи, как у большого, и отец. Раздаются рокоты, люди радостно запрокидывают головы: Соколы! — пальчиком протыкает небо малыш...

— Это ведь снова они?

— Нет, они теперь не скоро вернутся.